

ЖЖАЖДА

Алексей
Кольшевский

РОМАН О МЕСТИ,
ДЕНЬГАХ И ЛЮБВИ

МОЖНО ЛИ
СТАТЬ ВЕЗУЧИМ
СУКИНЫМ
СЫНОМ
ЗА СЧЕТ
БЛИЖНЕГО
СВОЕГО...



Алексей Кольшевский

**Жажда. Роман о
мести, деньгах и любви**

«ЭКСМО»

2009

Кольшевский А. Ю.

Жажда. Роман о мести, деньгах и любви / А. Ю. Кольшевский — «Эксмо», 2009

Что объединяет героев романа Алексея Кольшевского? Их объединяет ненависть и жажда. Ненависть друг к другу и жажда того, что не может принадлежать им по праву. Не убий... Не укради... Не прелюбодействуй... Как далеко готов зайти человек, чтобы получить желаемое? Жорж Мемзер – хозяин и разрушитель мира, мучимый жаждой мести России, вскормившей его, – создатель экономического катаклизма, уже наметил себе жертву. Но вмешалась любовь и спутала все карты. И тогда он сам стал жертвой и заплатил сполна.

Содержание

Пролог	5
Глава 1	11
Глава 2	21
Глава 3	36
Глава 4	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Алексей Кольшевский

Жажда

Роман о любви, кризисе и надежде

Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, а к Предвечному – нечестиво, видимо совершенно забыв о полученных от Него благодеяниях; равным образом они перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись за это, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода.

Иосиф Флавий, «Иудейские древности»

– А главное, – все тараторил Алферов, – ведь с Россией – кончено. Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной рожке...

Владимир Набоков, «Машенька»

Пролог

Бригадир сидел при полной власти, в пиджаке, рубашка расстегнута по последней моде. На руке – Паша всякий раз забывал рассмотреть, на которой именно, – большие часы с гравировкой «За всё» на задней крышке. В углу кабинета – знамя с кистями, вышитое ивановскими ткачихами, – подарок. Над головой бригадира висел портрет двуглавого орла, обрамленный в тяжелую раму. Портрет изображал этого самого орла и больше, собственно, ничего не изображал.

– А-а-а, Павлик! – обрадовался бригадир. – Ну, чего ты там надумал?

– Да вот, – министр для виду оробел, зная, что бригадир покорность ценит. – Тут, товарищ Бригадир, человечек один интересный схему предложил. Можно пару копеек по-тихому зашибить, а делать особенно ничего и не надо. Бабки пульнуть. Оформим как надежный инвестпроект, а прибыль укажем так себе, ну а дельту, сами понимаете...

– Звонишь-то складно, – благожелательно кивнул бригадир, и Паша мысленно поставил себе промежуточный зачет, – однако охота и подробности узнать. Есть бумажка-то какая?

– Вот, пожалуйста, – Паша выложил перед бригадиром широкий скрученный лист бумаги и развернул его, придавил по краям, чтобы не сворачивался. – Вот, значит, два американских агентства, которые жилищные кредиты выдают. У этого человечка там хорошая доля.

– А я его знаю?

– Конечно, товарищ Бригадир! Это некий Мемзер Жорж Леопольдович.

– О-о-о! – уважительно протянул бригадир. – Это большой человек. Он вроде теперь в Москве проживает?

– Так точно! Приехал некоторое время назад, купил дом в центре. Одним словом, проживает. Большой финансист, товарищ Бригадир. Предлагает нам в эти агентства перевести кое-что. Я вот тут указал. Да вот, прямо тут, сбоку написано.

– Серьезная цифра, – со значением произнес бригадир и поглядел в окно. За окном светило солнце, на лужайке перед домом резвилась любимая бригадирова собачка. Бригадир на время забыл обо всем и принялся насвистывать мелодию старинной песни «Я люблю тебя,

жизнь», а потом даже спел половину куплета. На словах «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно» бригадир услышал, что ему кто-то подпевает, вспомил о Паше и повернулся в его сторону.

– Раз цифра серьезная, то и последствия могут быть серьезными. Не кинет он, этот Жорж Леопольдович?

– Ни в коем случае, – Паша приложил руку к сердцу и стал похож одновременно на Павлика Морозова, Тимура и его команду и на трактористку Пашу Ангелину в момент вручения ей ордена Трудового Красного Знамени.

– Ну а... – бригадир выжидательно поглядел на Пашу, – что-то здесь больше никаких цифр не написано.

– Товарищ Бригадир, вопрос тонкий, деликатесный, то есть, тьфу ты, деликатный. Одним словом, десять процентов сразу после размещения средств в этих самых агентствах.

Бригадир, услышав про десять процентов, невольно нарушил придворный этикет и конвульсивно подпрыгнул в кресле:

– Так это же... Шесть?

– Так точно, товарищ Бригадир, – молитвенно прижав к груди руки ответил министр, – шесть.

– Так ведь и это еще не все, Пабло, – почему-то на испанский манер назвал Пашу бригадир, – ведь эти шесть-то попилить надо как следует. Кто при интересе?

– Вы первый, вам тридцать процентов. Тридцать Мемзеру, тем более что он там у себя тоже с кем-то должен попилить. Может, со своим бригадиром, я точно не знаю. И нам с Ариком по двадцать, товарищ Бригадир.

– Это который Арик? – нахмурился бригадир. – Это тот, что из «А-Групп»? Компаньон твой? А он здесь при чем?

Паша почувствовал головокружение и легкие желудочные колики. Он с удовольствием сел бы, но сесть ему никто не предложил, а без приглашения он не смел, лишь робко оперся о спинку стула:

– Просто Арик тоже в схеме, Мемзер его человек и без Арика ничего бы не...

– Так, – сказал как отрезал бригадир. – Ты давай тут без интеллектуальных шарад своих, Паштет. Дела твои темные мне известны. Может и не все, но тебе, в случае чего, генпрокуратура за них лет тридцать навесит...

«Пугает, – с обожанием глядя на бригадира, подумал министр. – Значит, все получится. Сейчас, небось, свою долю увеличит до половины, как мы с Ариком и прогнозировали, и все будет тип-топ». Он не ошибся:

– Я никаких Ариков кормить не собираюсь, – продолжал бригадир жестко, глядя перед собой в одну точку. – Мои условия следующие. Мне, – он выдержал эффектную паузу, во время которой Станиславский Константин Сергеевич, случись ему присутствовать при этом спектакле, непременно воскрикнул бы: «Верю!» – мне, – повторил бригадир, – пятьдесят процентов. И точка. А остальное дербаньте, как хотите.

– Слушаюсь, товарищ Бригадир, – засуетился Паша, принялся сворачивать свой лист, радостно трясая головой, а бригадир молча за ним наблюдал. Наконец, когда министр скатал схему в трубочку и вытянулся, щелкнув каблуками, в ожидании дальнейших указаний, бригадир сказал:

– Опять Аляску продаем.

Министр вежливо изобразил непонимание.

– Аляску, говорю, продаем опять. Тогда продать продали, а денег так и не увидели. Корабль-то утонул, который из Америки в Россию золотишко вез! За просто так Аляску отдали, получается. Вот и сейчас из Стабфонда шестьдесят миллиардов пульнем, а назад-то и не получим ничего. Потонет кораблик.

– Вы же знаете, товарищ Бригадир, – тихо сказал министр, – что скоро начнется. Так хоть мы с вами заработаем с этих миллиардов, а то они просто в трубу улетят, и все.

Бригадир вновь посмотрел в окно. Были в его взоре мудрая грусть и рассудительная печаль, сдержанная меланхолия и тоска по крутым горным спускам. Какой же бригадир не любит быстрой езды?

– Ступай, Паша. Да говори всем, что, дескать, к нам в державу сия чума не пожалует. Оно, может, кто и поверит. Народ-то у нас, сам знаешь. Золотой, Паша, у нас народ...

* * *

– Девушка, я хотел бы снять со своего счета девятьсот семьдесят тысяч рублей и оставить только неснижаемый остаток тридцать тысяч.

– М-м-м... С какой целью?

Человек, стоявший у стойки в банке, поперхнулся от неожиданности:

– А вам какая разница? Мои деньги, на что хочу, на то и снимаю.

Лицо «девушки» – лысоватой дамы лет сорока трех – подернулось ненавистью, длинный чувственный нос в загримированных оспинах пришел в движение, кончик его затрепетал, ноздри раздувались, будто жабры акулы, спринтерским рывком преодолевающей оставшиеся метры до заветного серфингиста, на скулах обозначились багровые чахоточные пятна, а табличка на груди с надписью «Вера Лосева, главный экономист» задрожала, словно последний осенний лист на дереве. Вся сделавшись поджарой, как русская псовая борзая, дама очень похоже изогнула спину и глухо спросила:

– Вы заказывали деньги?

Клиент – молодой мужчина лет тридцати пяти в коричневых, чуть тронутых пылью ботинках и с портфелем, зажатым под мышкой, уставился на Лосеву с непониманием, быстро сменившимся первоначальной стадией бешенства. Закипая, словно электрочайник, молодой человек с возмущением воскликнул:

– Что значит «заказывал»?! Где и у кого я должен что-то заказывать?! Почему я должен заказывать собственные деньги?! Вы банк?! Банк! Я храню у вас деньги?! Храню! Так и выдайте их мне по первому требованию, как это написано в договоре! Вот! – Он поставил портфель на стойку, порывшись в нем, достал договор на двух листах и потряс ими перед главным экономистом Лосевой:

– Написано черным по белому: «банк обязуется, трам-пам-пам, выдать, трам-пам-пам, в случае, трам-пам-пам, по первому требованию вкладчика». Я ж ничего не выдумываю, правда? Мне вообще странно, что я должен вам все это сейчас говорить. Короче, мне срочно нужно девятьсот семьдесят тысяч, вот мой паспорт.

Лосева заметно напряглась, взяла паспорт, раскрыла, положила перед собой, пробежалась пальцами по клавишам компьютерной клавиатуры:

– Михаил Евгеньевич?

– Да.

– У вас вклад «Престижный»?

– Да!

– Пожалуйста, не кричите на меня.

– Все-все, я не кричу. Вы мне только деньги мои выдайте, пожалуйста, и я вам буду улыбаться хоть до конца дня, благо, – он посмотрел на циферблат больших часов за ее спиной, – до закрытия банка еще есть минут пятнадцать.

Лосева сверила данные паспорта. Все сходилось: Плешаков Михаил Евгеньевич, 1973 года рождения, серия, номер, зарегистрирован и так далее, на счету ровно миллион рублей, ничего особенного. Вернее, ничего особенного не было до утренней директивы, разосланной

центральный офисом ее банка во все отделения. «Не осуществлять выдачу вкладов в случае, если сумма является значительной. Для мотивации отсрочки исполнения требования использовать следующие основания... В случае выявления нарушений пунктов настоящей директивы на виновных будет наложено взыскание в виде штрафа». Сегодня Вера помогла своему банку сохранить немалую сумму, и, конечно же, она ничего не выдаст этому хамлу, тем более что на штраф нарываться совсем не хочется.

– Я повторяю, вы заказывали деньги?

– А я вам русским языком отвечаю, что нет! Какого черта?! Я впервые о таком слышу!

– Вам следовало заказать сумму вчера, до двенадцати часов дня, позвонив по телефону, или лично явиться в банк и сделать это через экономиста. Мы ежедневно заказываем деньги по заявкам клиентов и по ним же деньги выдаем, особенно такие крупные суммы.

– Для вас, для вашего банка это считается крупной суммой? Послушайте, я отстоял в очереди шесть часов! Мне срочно нужны эти деньги! Завтра утром! Немедленно выдайте деньги! – Мужчина не заметил, что давно перешел на крик и сквозь немного поредевшую по сравнению с началом дня толпу к нему с разных сторон направляются охранники. Они подошли почти вплотную, но пока ничего не предпринимали, а лишь стояли, сложив руки на манер футболистов из штрафной «стенки».

– Этой суммы нет в кассе, молодой человек. Пожалуйста, успокойтесь, – длинный нос теперь не просто дрожал, он трепетал, как гордое знамя кавалерийского полка на ветру. – Вы можете сделать заказ сейчас и получить деньги послезавтра, начиная с половины девятого утра.

Плешаков Михаил Евгеньевич еще какое-то время препирался с главным экономистом Лосевой, затем нахально и от души послал банк и всех, кто в нем работает, по матери. Немного погодя все же взял себя в руки, извинился, забрал свой паспорт и вышел на улицу. Там он сел в небольшой автомобиль, вырулил на проспект и покатил в сторону кольцевой автодороги. По пути он несколько раз вздохнул: причиной тому стали таблички возле обменных пунктов. Еще утром, когда Плешаков ехал на работу, значения курсов валют, которые показывали светящиеся на табличках цифры, были не в пример скромнее.

Автомобиль занял свое привычное место возле недавно построенной многоэтажки, а Плешаков, по-прежнему держа свой портфель под мышкой, зашел в подъезд, вознесся на лифте на пятнадцатый этаж и позвонил в дверь квартиры, номер которой не поддавался установлению ввиду его отсутствия. Плешаковы только недавно сделали ремонт, и глава семьи все забывал купить две пластмассовых циферки, составляющие квартирный номер. Дверь открыла жена, окинула Михаила ничего не выражающим взглядом и ушла куда-то вглубь, судя по всему, на кухню, откуда немедленно донеслась песнь чайника и немелодичные звуки посудомоечной экзекуции.

Эту квартиру, чайник, посуду и вообще все, чем была заполнена квартира, Плешаковы купили в кредит. Радость от переезда закончилась некоторое время назад и сменилась липким от холодного утреннего пота страхом. И глава семейства, и его неприветливая супруга в первый после пробуждения миг задавали себе немой вопрос: «Что будет, если все заберут?» Ответа они не знали, и с тяжелым сердцем Миша хватал портфель и уезжал на работу, а жена наливала себе в кружку чай и садилась за домашний компьютер просматривать объявления в графе «требуется».

Плешаков торговал облицовочным кирпичом в небольшой конторе. Его жена до недавнего времени тоже чем-то торговала, но ее «вычистили», передав ее работу молодой и более расторопной напарнице.

«Сучка», – назвала жена Плешакова проворную напарницу и оказалась перед домашним компьютером и объявлениями о найме.

Зарплаты мужа хватало на скромный провиант и бензин для автомобиля. Все остальное, в том числе и ее жалованье, уходило в счет оплаты кредитов. Сейчас, когда женщина уже тре-

тый месяц сидела дома, положение с каждым днем становилось все более отчаянным. Вот-вот грозились образоваться первая кредитная задержка (кирпич перестали покупать, и мужу не выдавали жалованья уже больше месяца), а тут еще их сбережения в банке с претенциозным, как и у всех банков, названием начали стремительно дешеветь и купить на них можно было с каждым днем все меньше и меньше. Допустить задержку было немыслимым делом, поэтому Плешаков решил деньги из банка забрать, купить на них валюты, в другом банке погасить ежемесячную выплату и с остатком денег на руках надеяться на лучшее. А тут такая история!

– Заказали, не заказали... А я ей, мол, это, ну, мол... А она мне – «послезавтра», – непохоже изображал Плешаков главного экономиста Лосеву, рассказывая супруге о последних событиях. Та слушала его рассеянно, что-то рисовала пальцем на скатерти, а после и вовсе ушла безо всякого упреждения и легла спать.

На следующий день Мишу уволили с работы. Утешение от того, что и всех остальных сотрудников постигла та же участь, да и сама организация прекратила свое существование, а кирпичный завод забрали за долги все те же кредиторы, было каким-то слабоватым. По дороге домой Миша купил бутылку дагестанского коньяка и выпил ее дома, в одиночестве, так как жена категорически отказалась составить ему компанию.

А утром он с тяжелой похмельной головой поехал в банк, опасаясь, что по дороге может остановить милиция, а надежды откупиться нету никакой, просто нечем. И если попросят его дунуть в хитрую милицейскую трубку, то последствия могут быть самыми ужасными. С этим пронесло: ни одного бдительного милиционера не встретил Миша и к банку подъехал без происшествий. Возле отделения он увидел солидную разночинную толпу, общее настроение которой, судя по выкрикам нецензурного свойства и резким жестам, совершаемым некоторыми членами этой толпы, было далеко от радужного. Протиснувшись к крыльцу, на входной двери Миша увидел наклеенный как попало листок со словами «Банк закрыт». И все. Больше на окаянном листке ничего написано не было, и в голове Плешакова хлопнушкой разорвалось многозначительное и всеобъемлющее «та-ак». Он растерянно повернулся и окинул взглядом сотню лиц, не менее растерянных, чем его собственное.

– Это как же понимать? – сдавленным голосом произнес Миша, обращаясь ни к кому персонально и вместе с тем ко всем сразу. – Как это «закрыт»? Не может быть! Что у них там, бомбу, что-ли, ищут?!

– Какая там бомба, парень! – в сердцах ответил какой-то субъект, с виду интеллигент – в просторной ветровке, свисающей с узких плеч, в очках и с наколкой «Катя» на фалангах пальцев правой руки, что мало вязалось с его безопасным обликом. – Схлопнулись они. Новости-то не смотрел?

– Не... Не-ет, – проблеял Миша и почувствовал головокружение.

– Обанкротились они. Вчера. Эх-х, – вздохнул сомнительной пробы интеллигент и достал из кармана папиросу.

– Что же теперь будет? – спросил Плешаков интеллигента с наколкой.

– Черт его знает, – пожал тот плечами. – Вот, предлагают письмо писать, выбирать инициативную группу. Только долго это все...

Домой Миша попал только вечером. Весь день он бегал, обивая пороги каких-то учреждений. Дважды побывал в центральном офисе закрытого банка, но так ничего и не добился, а цифры на табло возле обменников к вечеру стали еще более пугающими.

Вместе с женой они перебрали все возможные варианты на тему «где взять денег?». Решили обзвонить знакомых. Никаких результатов это не принесло, кроме целой лавины сочувствия, сошедшей с уст приятелей и друзей. Но сочувствие, к сожалению, в дензнаки не конвертировалось. Родители Плешаковой жили в Сызрани, родители Плешакова в Казани. Надеяться на их поддержку было все равно что надеяться на гнилую веревку, зависнув над

пропастью. Предкам решили не звонить, не волновать их понапрасну, зная, что те гордятся детьми, покоровшими Москву.

Следующий день также прошел в попытках где угодно раздобыть деньги. Все безрезультатно. Супруги нервничали, переругивались и к вечеру рассорились окончательно. Сделать выплату в тот день так и не удалось, как, впрочем, и во все последующие дни. Потолок их квартиры дал трещину – в переносном, разумеется, смысле, – и в трещину эту, словно в дыру разгерметизированной кабины самолета, со свистом выносило остатки прежнего, казавшегося совсем недавно вечным, скромного плешаковского благополучия.

Через месяц им пришла повестка в суд. На суде Плешаковым было предписано освободить квартиру в трехдневный срок. Они еще на что-то надеялись, чего-то ждали, а на четвертый день рано утром к ним явились четыре судебных пристава, заявили, что Плешаковы по закону находиться на жилплощади, им не принадлежащей, не имеют права, и начали описывать имущество, невзирая на скорбные вопли и стенания.

– А вы думали, с вами кто-то шутки шутить станет? – с усмешкой спросил один из приставов, по всей видимости, старший над остальными. – Говорили же, что скоро жахнет этот, – пристав поморщился, словно от зубной боли, – кризис! А вы? Понаделали долгов, живете займы, так нужно быть готовыми...

К чему именно нужно быть готовыми, он Плешаковым так не и рассказал, а лишь махнул рукой и пошел дальше выполнять свою нелегкую задачу. Он пошел служить Родине.

Глава 1

В ресторане становилось шумно. Сперва до кабинета, расположенного на втором этаже, доносились снизу лишь отдельные разнообразные звуки, каждый из которых можно было уловить и невольно классифицировать. Вот женский хохот. Смеялась одна женщина, громко, пьяно, слышались в ее хохоте истеричные отчаянные нотки и чувствовалось – вот-вот перейдут они в бабьи рыдания. Взвизгнула музыка. Кто-то из гостей ресторана завладел электронной скрипкой, бросив ее владельцу-музыканту смятую купюру, и теперь пытался потешить своих друзей исполнением этюдика, заученного много лет назад в районной музыкальной школе. Вжик-вжик, микрофон зашкалило, что-то или кто-то упал. Раздался пьяный смех, после которого все звуки слились в один какофонический шум, и ресторан зажил обычной вечерней жизнью. Был рядовой будний день, кажется, даже вторник. Однако в ресторане наблюдался аншлаг: как и все прочие вторники последних нескольких месяцев, этот выдался бесшабашным, отчаянным... Ресторан напоминал замок короля Просперо, население которого кутило сутки напролет, пытаясь забыть о бушующей за стенами эпидемии. К счастью, все было не так уж мрачно – мир Эдгара По все же несколько удален от реальности, и понятно было, что никакой мнимый ряженный, посмевавшийся придать себе сходство с чумой, а на самом деле ею и бывший, в ресторан не проникнет. Нечего ему здесь делать. Тем более что чума, та, старая, давно побеждена, ее одолели врачи – придумали вакцину, извели прорву всякой подопытной живности, вернули Пандоре один из ее ненужных даров. Но не в силах врачей придумать вакцину от кризиса – болезни, симптомы которой впервые понемногу начали ощущать все и повсеместно, и уж если не чувствовали себя заболевшими, то непременно хоть раз в день произносили название ставшего популярным заболевания. И если чума появилась из ящика, то в появлении новой болезни ничего сверхъестественного не было. Ее придумали, создали на бумаге, превратили в схему, перевели в цифровой, компьютерный язык и запустили в жизнь – так же, как делает подкожное впрыскивание комар перед тем как начать высасывать свою законную каплю чужой кровушки.

На первом этаже гуляла компания человек в двадцать. Гуляла шумно, с размахом, затейливо. С первого взгляда было понятно, что гулять люди умеют, занимаются этим часто и в процессе себя не жалеют. О нет! – никто из них не был чрезмерно пьян, никто не шарил бессмысленным взором по сторонам, не буравил немигающим взглядом скатерть, не падал лицом в пресловутый салат, да и салата вовсе никакого не было. Пили вино, расставлены были на столе какие-то легкие закуски. Ресторан был французским, и, как всегда это принято во французском ресторане, на тарелках гостей встречались отчлененные клешни лангуста, измятые четвертинки лимона, крошки хрупких багетов и маленькие, размером с виноградину, помидоры.

Были, разумеется, в ресторане и другие посетители, все больше парами, но никакого интереса они не представляли, ничем особенным не выделялись, вели между собой какие-то обычные беседы на деловые темы (мужчины в пиджачно-галстучной амуниции) или, сомкнув через стол руки, нежно заглядывали друг другу в глаза, лепетали милые глупости, хихикали, словом, флиртовали. Ведь главному инстинкту не страшны никакие эпидемии, и союз мужчины и женщины, не раз подвергавшийся наивысшим испытаниям, проходил сквозь них, будто горячий нож сквозь кусок масла. Вдаваться же в подробности отношений между всеми этими нежно воркующими ни к чему – полицию нравов придумали ханжи, воспитанные в пуританских семьях, где глава семейства, оставаясь наедине с собой, яростно мастурбировал на воображаемые прелести грешниц, столь порицаемых им на людях. Оставим, оставим столики на двоих, вернемся к нашей компании, рассмотрим некоторых ее участников так же, как следует разглядывать живописные шедевры, нарочно для этого развешанные по стенам галереи в том

порядке, который известен лишь зануде-искусствоведу – этому комментатору чужого полета, пытливому блохоискателю, мнящему себя мудрецом.

Шумные гости собрались по поводу, а не затем лишь, что им приятно было бы встретиться всем вместе, вдруг. Поводом случился день рождения той самой немного истеричной дамы, которой ударило в голову шампанское и еще кое-что, употребленное ею недавно в дамской уборной – тайно, чтобы не увидел муж, большой до таких ее выходов неохотник. Дама была почти красива. Именно почти, так как этот незначительный кусочек от ее прежде совершенной красоты украли, поделившись между собой по-дружески, та самая привычка использовать дамскую уборную в заведениях не по прямому назначению, а также всевозможные опасения дамы, касающиеся в основном ее отношений с мужем.

Муж ее, чью национальность можно было определить с первого взгляда, был поджар, считался вегетарианцем, носил модные, в талию, пиджаки, бороду брил машинкой, обрекая щеки на постоянную трехдневную щетину, на голове имел маленькую накрывающую темя шапочку и неодобрительно относился к морепродуктам. Одним словом, он был еврей, и, как это нередко бывает, еврей весьма и весьма состоятельный. Именно эта чрезвычайная состоятельность и вызывала в его жене столь сильное нервное напряжение, которое она однажды решила снимать при помощи наркотиков. Когда же она уже совершенно пристрастилась и не смогла забросить это сомнительное занятие, состоятельность мужа заставила женщину искать новые способы позабыть свои печали. Но все эти тонкости взаимоотношений совсем не бросались в глаза, и даже в ближайшем кругу считалось, что Ариэль и Марина – пара идеальная, на редкость дружная. Многие женщины Марине отчаянно завидовали, особенно когда она с мужем позировала для журналов «Татлер» и «Хеллоу». На фотографиях Марина ослепительно улыбалась, ослепительно одевалась, ослепительно изгибалась, вообще все делала ослепительно, и за этим ненатуральным сиянием не было видно ее испуганных, встревоженных глаз. Она знала о романах своего супруга – именно романах, а не случайных связях с дамами полусвета. Ариэль был похотлив, очень гордился своим неумным физиологическим аппетитом и имел шестерых любовниц, каждой из которых щедро жертвовал на шпильки, обстановку и украшения. Подобные немыслимые для рядовых граждан расходы были Ариэлю нипочем – его состояние было космическим и преумножалось с космическими же скоростями. Список всевозможного рода организаций, где супруг Марины являлся либо единоличным владельцем, либо компаньоном, состоял из сорока с лишним пунктов, а перечисление разнообразного скарба, движимого по суше и по водам, недвижимого, украшенного картинами французской, итальянской, фламандской школ и всякими прочими художественными безделушками, так вот, перечисление это с подробным описанием заняло бы немало времени. Ариэль – для близких друзей Арик – к своей жене относился прохладно и подумывал о разводе, но развестись не мог по религиозно-политическим соображениям. Во-первых, он был евреем верующим и соблюдал субботу, во-вторых, занимал значительный пост в еврейской общественной организации и там к его разводу отнеслись бы с непониманием. Ведь, как известно, нет на свете ничего более крепкого и надежного, чем еврейская семья. Сам Арик называл свой союз с Мариной «союзом с нюансами», и для посвященных расшифровка этих нюансов никакого труда не составляла. Основной нюанс заключался в том, что Марина была русской с рязанскими корнями, и род ее начался в середине девятнадцатого века от скромного учителя гимназии и дочери небогатого купца третьей гильдии. После русской революции одна тысяча девятьсот пятого года прадед Марины, выюноша девятнадцати лет от роду, приехал в Москву, открыл небольшое дело – мелочную лавчонку – и, сколько ни мечтал, ни бился, но дальше этой лавчонки дела его так и не пошли. Тогда в семнадцатом он провозгласил себя пролетарием и уехал в Петроград, откуда вернулся уполномоченным «товарищем», с мандатом, маузером и в длинном кожаном пальто. Вчерашний купчик быстро учился нехитрому искусству заплочных дел мастера. Он искоренял контрреволюцию, стрелял по темницам несчастных и был в большом почете у товарища Дзер-

жинского как «принципиальный и несгибаемой воли боец революции». Боец несгибаемой воли долгое время не женился, имея возлюбленную, жену одного известного в Москве нэпмана. Тот был вынужден молчать и терпел присутствие человека в кожанке до тех пор, пока его законная супруга не родила будущую Маринину бабку. Одновременно с этим ужасным потрясением нэпман узнал, что указом советской власти он лишается всего состояния, и, будучи не в силах пережить два столь тяжелых известия, застрелился из маузера несгибаемого бойца, зашедшего проведать новорожденную и красноречиво оставившего оружие с одним патроном на буфете в столовой. Нэпмана тихо похоронили, советской власти достался магазин с пустыми полками и кассой, а вдова нэпмана на сорок второй после его кончины день расписалась со своим любовником в Мещанском ЗАГСе. Жить новая ячейка общества осталась в большой нэпманской квартире в Бобровом переулке. Здесь через два года появилась на свет вторая дочь. Стороной прошла война: глава семейства выжигал каленым железом скверну по месту жительства и всего два или три раза побывал на фронте, да и то в ближайшем тылу, километрах в тридцати от передовой, с какими-то проверками. Сестры росли, недостатка ни в чем не знали. В школу, в университет, на дачу – словом, повсюду их возил шофер. Нравами они отличались довольно свободными, и младшая сестра родила первенца за несколько месяцев до собственных восемнадцати лет. С отцом ребенка, сыном сельскохозяйственного академика, они оформили брак, что называется, «с доказательством на руках».

Старшая сестра вышла замуж чуть погодя, и в сорок девятом родилась мать Марины. В семидесятом она вышла замуж за своего научного руководителя, а в семьдесят восьмом наконец-то появилась на свет и сама Марина.

Арик был старше ее на десять лет и свой первый миллион сколотил, когда будущая жена заканчивала школу. Там, прямо возле школы, они и познакомились. Марина переходила через дорогу, он ехал на какую-то встречу и, поглядев из окна замершего на светофоре автомобиля, увидел ее. Вышел из машины и просто пошел следом за девушкой.

– Зачем вы за мной идете? Вы ненормальный? – спросила она через два квартала.

– Не могу остановиться, – улыбнулся Арик. – Меня к вам притягивает.

Школьница ничуть не растерялась и уже очень скоро стала мадам Смелянской, вызвав приступ завистливой дурноты у подружек и недоумение у родни Ариэля.

– Арик, но ведь она не из наших, – пыталась возражать Эстер Самуиловна, мама Арика.

– Так будет из наших, – мужественно парировал Арик.

Человек вправе изменить все в себе и вокруг себя. И это касается не только формы носа, бюста и длины лодыжек. Вполне можно поменять и религию, тем более что цена вопроса невероятно высока, потенциальный муж очаровательно богат, а речь идет лишь о снятии с себя нательного крестика, – так рассудила Марина.

Сделавшись женою Арика, она не пожелала оставаться бездельницей и поступила на платное отделение факультета журналистики. Какая-то непобедимая тяга к насыщению белой бумаги буквами жила в ней с детства и теперь просто забила через край. Ей льстили в глаза, посмеиваясь за спиной, перед ней склонялись в реверансе, пряча в кармане оттопыренный средний палец. Насмешки становились все нестерпимей. Однажды на стене туалета Марина увидела мастерски нарисованную карикатуру, где она беспомощно стояла у доски с написанным на ней примером вроде «два плюс два», рядом за своим столом сидел преподаватель, обхвативши руками голову, лежал перед преподавателем мешок с дважды перечеркнутой «S», а сбоку держал его висок на прицеле лысый громила. Марина поняла, что социальное неравенство лишь тогда чего-то стоит, когда ты, помимо денег мужа, еще и соответствуешь избранному тобой кругу уровнем собственного интеллекта. Рассудив, что репутация ее на журналистском факультете безвозвратно испорчена, Марина ушла из университета и последовала за мужем в парижскую ссылку. К тому времени стало модным заводить роскошную недвижимость в стране коньяка и лягушек, вот и Ариэль с наслаждением катался вдоль Елисейских полей на ролико-

вых коньках, а волю накатавшись, возвращался в свою большую квартиру в Латинском квартале. Здесь его встречала жена с учебником французского и сигареткой, спрашивала, сколько раз он падал, и, не дождавшись ответа, уходила на свою половину разучивать падежи и глаголы.

– Я хочу учиться в Сорбонне, – заявила она как-то за завтраком. – Я уже достаточно знаю язык, чтобы слушать лекции и читать про д'Артаньяна в подлиннике.

Арик тогда еще очень сильно ее любил, и с Сорбонной решилось все довольно скоро. Марина ходила туда полгода, а потом ей наскучило – она вообще не могла заниматься чем-то постоянно. Она заявила мужу, что в ней (вдруг! внезапно!) проснулись вокальные способности, и она хочет петь в собственной группе. Все эти попытки супруги отыскать собственное «я» обходились Арику в какие-то пустяки, и он безропотно ссужал на ее эксперименты сотню-другую тысяч. Марина записала три студийных альбома, они поочередно поступали в продажу, но особенного успеха не имели, и дело было даже не в том, каким вокалом одарил ее создатель. Причиной фиаско стало почти полное отсутствие рекламы, а реклама – это уже расходы совсем иные. Это не сотни тысяч – это миллионы, и Арик тогда впервые сказал «нет».

– Попробуй заняться чем-нибудь другим, – просто сказал он и улыбнулся. – Я не вижу смысла инвестировать в твою музыку так много, я привык получать отдачу на каждую вложенную копейку.

– Ты меня не любишь, – Марина сделала плаксивое лицо, а он потрепал ее по щеке и вышел, осторожно прикрыв за собою дверь.

С тех пор их отношения начали разлаживаться. А тут еще сестра Марины нашла где-то старика-волшебника, выскочила за него и все уши прожужжала о том, какой он щедрый «и вообще»...

– Самым большим удовольствием в браке являются деньги мужа, – говаривала сестра, и Марина мрачно качала головою, соглашалась.

Ариэля вдруг словно подменили. Из домоседа он превратился в откровенного гуляку, а может быть, он всегда был таким, просто она не замечала этой его самцової потребности. Арику же казалось, что он самоутверждается, разбрасывая семя по шести постоянным адресам своих любовниц, не считая случайных связей с проститутками из борделей Амстердама и Гамбурга – городов, в которых ему приходилось бывать регулярно с деловыми целями. Марина оказалась бесплодна – она тайно прошла обследование и после очень боялась, что каждый день ее брака может оказаться последним. А он, разумеется, все знал, но не давал ей развода, потому что ему было удобно оставить все без изменения. Несчастье не приходит вдруг, но Марина именно так ощутила его, сразу и целиком, и, не в силах справиться с этим штормом, ухватилась за коробочку с чудесным белым порошком, после вдыхания которого все печали как-то отступали и вовсе не казались значительными и неразрешимыми.

В Москве ее день рождения совпал со временем выборов французского президента, и Арик придумал забавную штуку: ресторан разукрасили флажками устричной республики, гости задорно голосили «Марину в президенты», вилась мелким бесом светская хроника, ослепляя гуляк фотовспышками, Маринины подружки цыганились, вибрируя грудью, потрясая плечами, задорно вскрикивали «ой нэ-нэ». У каждой из них была своя история, одновременно и непохожая, и похожая на историю Марины. Удержать возле себя источник постоянной благодати – собственного мужа – вот главная цель, но обсуждать это дамы не стали бы ни за что на свете, и их разговоры между собой носили характер непринужденный и даже милый. Те, у кого имелись дети, говорили о детях, те же, у кого их не было, тоже пытались говорить о детях, затем все с увлечением обсуждали новые покупки, подарки, других женщин, их мужей и любовников, строили замки из догадок – благодатного материала, принимающего любые формы.

Мужчины стучались рюмками с водкой и толстодонными стаканами с виски, Ариэль маленькими глотками тянул красное сухое вино – обычно бокала ему хватало на целый вечер. Пить он не любил, не курил – берег сердце. Разговоры мужчин крутились возле денег, потом

кто-нибудь с досадой, кривясь, произносил: «Ну что мы все про деньги?» – и тогда беседа принимала какой-нибудь новый, непредсказуемый характер. Например, кто-то начинал разговор о театре и кино. Эту тему с жаром подхватывали, но все в конечном итоге сводилось к обсуждению вопроса, насколько оправданы вложения денег в предметы искусства, в театральные премьеры, кинопрокат... и так до тех пор, пока очередной участник беседы не задавал тот же вопрос насчет денег, после чего все начиналась заново.

* * *

В кабинет на втором этаже вошел сомелье в белых перчатках. Он с трепетом нес хрустальную бутылку аукционного коньяка, родившегося полтора года назад и с той поры изрядно прибавившего в цене. Бутылка стояла целое состояние и была извлечена из деревянного с железными углами ящика, где она лежала, обернутая соломой, последние сорок лет. Коньяк предназначался для пожилого мужчины и его визави – вьетнамца, с виду чуть моложе, суховатого и не улыбочивого человека, смотревшего в одну точку, выбранную им где-то на скатерти. Появление парня с бутылкой прервало их разговор.

– Ваш коньяк, господа, – сомелье с почтением поставил бутылку на стол, вытащил пробку с позолоченным набалдашником и, придерживая горлышко, налил в два бокала тюльпанной формы. – Это лучшее, что у нас есть, – сомелье закончил разливать и осторожно поставил бутылку на стол.

– Негусто, – подал голос вьетнамец, продолжая невозмутимо смотреть перед собой, и своей репликой поверг сомелье в замешательство – видно было, что тот уязвлен. Не в силах сдержаться, сомелье буквально возопил:

– Простите, но стоимость этого коньяка даже во Франции превышает двадцать тысяч евро!

– Я вымачиваю в таком сигары, – вьетнамец закашлялся и брызнул себе в рот из флакона с распылителем, поморщился. Сомелье, спохватившись, что позволил себе лишнее, жалко улыбнулся, пожелал приятного вечера и уже хотел было удалиться, как пожилой господин жестом подозвал его поближе:

– А кто это там так шумит внизу?

– Господин Смелянский празднует день рождения супруги, – без запинки ответил осведомленный сомелье.

– Вот как? – пожилой господин удивленно вскинул брови. – Гм... Сынок, ты попроси этого Смелянского вести себя потише, он здесь не один, ладно? И пригласи его сюда. Через полчаса. Вот тебе за труды, – и он протянул сомелье ассигнацию, которую тот с поклоном принял.

– А скажи, Нам, – пожилой дождался, когда за парнем закроется дверь, и продолжил прерванный разговор, – скажи, как долго ты думаешь налаживать местное производство? Мы с тобой считали – помнишь? – сколько можно будет иметь при том же объеме сбыта, сэкономив на доставке. Теперь у нас на нее уходит семьдесят процентов!

Вьетнамец сделал небольшой глоток, покачал головой и отставил свой бокал в сторону:

– Что толку в организации здесь производства, когда нет возможности обеспечить его сырьем в нужном количестве?

Пожилой хмыкнул:

– Сырьем? О каком сырье ты говоришь? В России героина больше, чем каменного угля и куриного навоза.

– Было когда-то, – вьетнамец вздохнул, – сейчас стало труднее. Рынок сбыта в этой стране вьетнамцам уж точно не принадлежит, да и власти не дремлют.

– Он вообще никому не принадлежит, – жестко оборвал его пожилой, – здесь монополии не будет. Никогда. Везут все кому не лень. На свой страх и риск. Нам, когда ты откроешь фабрику здесь, в Москве, все изменится. Крышу я обеспечу, власти твои как дремали, так и будут продолжать, только на другой бок перевернутся. На этот счет даже и не думай. Всех придавим, кто ветки свои распустит. Не понимаешь?

– Мне русский язык родной, – вьетнамец Нам поглядел на часы и легко встал из-за стола. – А войны, мой дорогой друг, мне не нужно. Мы здесь живем тихо, своим кругом. Не хватало нам газет и огласки. Мне пора, с твоего позволения, – Нам вежливо поклонился. – До встречи. Через месяц все заработает, даю слово.

– Дай-то бог, – пожилой махнул рукой, – хочу тебе верить. Нужны будут деньги или еще что – милости прошу.

Вьетнамец молча кивнул и, не подав руки, вышел, а пожилой нажал кнопку специального звонка для вызова официанта. Тот появился почти мгновенно: услужливая поза, длинный передник, безукоризненно белая рубашка и галстук-бабочка. Услышав пожелание гостя, сломался в поклоне, приоткрыв дверь, поманил кого-то пальцем, и в кабинете оказались две девицы в бикини. Одна из них принесла с собой компактную систему бумбокс. Под музыку стриптизерши принялись ласкать друг друга – их номер назывался «Амазонки с Лесбоса». Пожилой господин благожелательно взирал на извивающиеся перед ним юные, свежие и упругие тела.

* * *

Когда сомелье передал Арику приглашение в кабинет на втором этаже, тот не удивился, словно был заранее готов к такому повороту. Выждав полчаса, он незаметно покинул свое место, поднялся на верхнюю анфиладу, отыскал нужную дверь и вошел без стука. Одна из стриптизерш танцевала на столе, другая сидела у пожилого господина на коленях, и он поглаживал ее по спине, будто кошку.

– Может, я не вовремя? – Арик занял место, на котором прежде сидел вьетнамец. Разглядеть пожилого господина, с которым, по всей видимости, он был прекрасно знаком, ему мешали мелькающие ноги стрип-танцовщицы, и тогда он, недолго думая, плеснул прямо на нее коньяком из нетронутого вьетнамцем бокала.

– Ай! Жжется! – девушка прыгнула со стола и с явной враждебностью уставилась на окатившего ее нахала.

– А ты вместо того чтобы каждый день ноги брить, лучше бы сделал эпиляцию. Или все на операцию ушло? Небось кредит брал, чтобы протезы вставить?

– Неужели так заметно, что я не настоящая женщина? – «девушка» картинно выпятила губу, а пожилой господин, гладивший по спине ее подружку, брезгливо столкнул ее с коленей. Надоевшую кошку прогнали, не иначе.

– Да вы кто такие?! – пожилой яростно вытирал руки, терзая льняную салфетку, на лице его было написано отвращение.

– Да трансы это, – Арик еле говорил сквозь раздиравший его смех, – ищущий да обрящет. Неужели не понятно?! Я уж было подумал, что вы во все тяжкие решили пуститься, дорогой свояк.

Ариэль отсмеялся, промокнул глаза носовым платком и велел «девушкам» убраться. Притворил за ними дверь и закрыл ее на замок.

– Зачем позвали?

– Дельце есть к тебе, – ответил свояк, – существенное. Выпьешь?

Однако Арик предложение проигнорировал, а вместо этого достал из пиджака записную книжку и увесистую, в белом золоте, авторучку:

– Слушаю с преувеличенным вниманием.

– Ты все клоунишь? – с мягким укором задал вопрос свояк. – Совсем не меняешься. Нет, ну как меня разыграли с этими... ты видел?! Как ты только их различаешь? По мне – баба и баба, а проверять между ног я и не собирался. Здесь же не бордель, – словно оправдываясь, продолжал он. – А дельце вот какое: у тебя же есть знакомства в министерстве?

Столь неожиданный переход, казалось, немного смутил Арика. Он некоторое время молчал, ничего не отвечая, потом взял со стола вилку, покрутил ее меж пальцев, бросил обратно и лишь тогда ответил:

– Вы же сами прекрасно знаете, что да. Мой банк – не совсем мой банк, я им владею пополам с одним известным человеком, как раз из этого заведения. Вам надо с чем-то помочь?

– Мне помочь? – свояк сделал удивленное лицо. – Мне помощь понадобится тогда, когда я под себя начну ходить, а это, надеюсь, совершится нескоро. Просто я хотел предложить очень хорошо заработать и тебе, и себе, и этому твоему из министерства. Он там какой пост занимает, высокий?

– Достаточный, – уклончиво отвечал Ариэль. Он понимал, что этот его свояк – муж Марининой сестры – со всякой ерундой лезть не станет, не мелкого калибра это орудие и бьет всегда наверняка.

– Настолько достаточный, чтобы иметь голос на высших заседаниях? Голос, к которому бы прислушивались? – родственник Ариэля забарабанил пальцами по столу. – Это должен быть высокопоставленный и очень влиятельный человек. Он должен быть своим в системе и при том не просто ее винтиком, отнюдь! – он должен быть неприкасаемой личностью! Вот о каком знакомстве я веду речь, дорогой Ариэль.

– Личность министра подойдет? – Арик сказал это так, словно он был игроком в покер, участвовал в первенстве Лас-Вегаса и только что небрежным жестом бросил на сукно миллионную, никем не ожидаемую карту.

– Ты хочешь сказать, что этот твой компаньон знаком с министром? – пожилой иронично прищурился.

– Нет, я хочу сказать, что мой компаньон более чем знаком с министром, потому что он и есть министр, и мне странно, что вы этого не знаете, дорогой свояк, или делаете вид, что не знаете.

– Да все я знаю, – отмахнулся свояк. – Но надо же было как-то красиво начать? С интриги, так сказать. А кроме того, всегда окончательно убеждаешься в правоте слухов лишь тогда, когда источник слухов их же и подтверждает. Вот теперь, после того как ты подтвердил, что едите вы с этим министром из одной тарелки, я могу тебе рассказать о сути дела. И я тебя прошу, не нужно ничего записывать. Все предельно просто. У меня в управлении находится некоторая часть двух самых известных американских фондов. Конечно, я там не один, но мои компаньоны люди проверенные, им можно доверять всецело. Наши с ними цели совершенно совпадают.

– Побольше заработать? – Арик пожал плечами. – А я-то здесь при чем? Разве хотите взять в долю?

– Заработать? – свояк придвинул к себе коньячный тюльпан, понюхал и пробормотал: «Что столетний, что трехлетний, а воняет клопами. Нет ничего лучше водки». – Заработать – это банально. Хотя, конечно, не без этого.

Он поманил Ариэля пальцем, сам перегнулся через стол и заговорщицким шепотом произнес:

– У нас должна быть цель великая, прямо историческая. А то все твердят, что жида Россию продали. Народишко языком метет, а она все стоит, не качается. Так надо, наконец, заняться этим. Через глобальный экономический саботаж, через хаос и Россию на бок завалим. А как она начнет валиться, дробиться на части, тут свое и отпилим. Надо соответствовать

репутации, в конце концов. Поверь, ради этого стоит прожить жизнь. Я столько лет мечтал ехать по большому городу, да вот хоть бы и по Москве, в метель, вечером, в час пик, когда вокруг столько озабоченных и забитых жизнью существ внутри своих консервных банок, они окружают меня и не знают, что вот сейчас, тут, неподалеку, находится хозяин и разрушитель этого мира – я.

Арик изобразил вежливое согласие, поиграл бровями, а про себя подумал: «Пафосно и громко, совсем по-стариковски. Любит он пострелять из пушки по воробьям. К чему вся эта велеречивость? А ведь дельце-то аховое, мягко говоря. Гешефт сумасшедший».

Произнеся свою напыщенную речь, будущий «хозяин и разрушитель» подал Арику знак, что беседа завершена и он может вернуться к гостям. Арик предложил присоединиться: «Что вам здесь одному куковать?» Свояк согласился, и мужчины вместе покинули кабинет на втором этаже, оставив недопитую бутылку коньяка горевать о своей недооцененности. Внизу то вспыхивал, то вновь разгорался многоголосый смех. Арик перегнулся через перила анфилады, лицо его приобрело глумливое выражение. Он повернулся к свояку:

– Вот идемте, там у нас есть один дуралей, невероятно смешной и жалкий. Будет весело...

* * *

Нет-нет-нет! Не то чтобы денег не было вовсе, они, разумеется, были! Есть ли разница между «быть» и «водиться»? Во всяком случае, Сашенька Лупарев предпочитал второй глаголец, именно так и говоря о себе: мол, деньжата у меня водятся. Было у Сашеньки и дельце – пустяк не пустяк, а так, подобие свечного заводика где-то под Рязанью. Выпускал тот заводик кирпичи, и Сашенька всем этим страшно гордился. Он гордился сутки напролет и через это немного повредился рассудком. Кирпичи расходились гораздо хуже, чем пресловутые горячие пирожки, но арендовать несколько комнаток на Юго-Западе Москвы, поселить в этих комнатках десяток-другой наймитов – все в подвальном этаже, а самому занять обставленный новой непылящейся мебелью кабинет неподалеку от парадного, да еще и утвердить возле себя в меру смазливую овечку, – это кирпичи позволяли. Сашенька алкал богатства. Настоящего. Он видел себя принцем с обложки журнала – из тех солидных изданий, что так любили фотосессировать Марину и Арика. Лупарев купил «мерседес» и поселился на Рублевском шоссе. На собственный дом, пусть даже самый скромный, или собственный надел земли, пусть и самый лоскутный, у Лупарева астрономически недоставало. Дом был снят им у старожилков Николиной горы, сдавших свой деревянный сруб со сносной обстановкой и частными соснами количеством более сорока. В сруб Сашенька въехал совместно с законной супругой Ирой, сыновьями Кристианом и Эриком и полоненной им на условиях контракта сингапурской рабыней Мглафвавой, которая простоты ради откликалась на Глашу.

Кристиану, старшему, исполнилось, кажется, пять лет, брат его был на год младше. Имена для отпрысков Сашенька придумал самостоятельно, но на этом сходство его детишек с милыми маниловскими Фемистоклюсом и Алкидом скоропостижно заканчивалось. Дети росли гадкими, скверными и избалованными. Особенно преуспевал в постижении законов патрицианства Кристиан: рабыня Глаша заслужила от него удар железным паровозиком в бровь, и на всю жизнь отныне розовый паучий шрам будет ей напоминанием о Кристиане.

Мглафвава, словно модная болезнь вкупе с двумя обезьянами, бочками золота и грузом шоколата, была импортирована из Малайзии, где распространением подобного рода забав занимало себя некое агентство. Дело в том, что у всякого рода лупаревых еще со времен Российской империи в крови сидит страсть к диковинам. Диковины нужны лупаревым, словно стакан воды жаждающему, – без диковин лупаревская жизнь захиреет, так как нечего станет показывать другим лупаревым, чтобы те впечатлились. Рабыня из Сингапура была для нашего Лупарева чем-то сродни адмиральскому вымпелу, ее демонстрировали гостям с прелюдией

«наша служанка, масса достоинств, старший из нее веревки вьет, а она ничего, терпеливая, вот что значит не наша культура». И ровно ничего из ряда вон выходящего не внесла Глаша в жизнь лупаревского семейства, уйдя во мрак, растворившись где-то в среднерусской осенней равнине, там, где начиналась глинистая и прилипчивая, в дождь нахоженная тропа.

А вот был в семье Лупарева еще один занятный случай, теперь уже с младшим его. Крошка Эрик залез в автомобиль, стоящий на взгорке, умудрился его завести и снять с ручного тормоза и низвергся в нем до одной из сорока с чем-то сосен участка, сам притом нимало не повредившись, да и машину изувечив не основательно. Родители превратили злодейство в кич:

– Нет, ну вы только подумайте, что за умница! – с умилением, подпустивши в голос материнской амброзии, ворковала супруга Ира.

– Это ведь сообразить надо! – вторым голосом фонил Сашенька. – Какая наблюдательность! В эти годы я таков не был. Отраднo, что дети идут далее родителей, – с умиленным вздохом заканчивал он и при этом водил рукой чуть выше колена, словно гладил собаку.

Ирина считалась подругой Марины, поэтому Лупаревы сейчас были в ресторане вместе с прочими, и Сашенька, который любил выпить, сидел уже довольно кривенький. Ира посвящалась в какие-то тайны женского круга, то есть была при деле, а с ним никто из мужчин особенно не разговаривал, с первого взгляда определив в нем выскочку и мелкую сошку. Сашенька понимал все прекрасно, и эта собственная незначительность висела у него на шее, словно жернов, надсадно тянула, тяжелея с каждой рюмкой. Сашенька упрямо противился жернову, поднимал голову, обводил «недотрог» пьяным взором. Вспыхивал замутненный глаз его, но ненадолго – вновь он свешивал унылую голову, обиженно трепетал ушами и напоминал прибитого жизнью Карандышева, надоедливого и липкого огудаловского ухажера, пришившего бесприданницу под шелест невысокой волжской волны.

В конце стола полыхнуло смешком – это отделившееся от женщин мужское общество, в которое Лупарева не принимали, что-то обсуждая, коснулось сальной детальки. Не бог весть что за повод: чей-то знакомый недавним летом отдыхал в Биаррице с юной нимфой. На выходных, оставив ее, переехал в Ниццу, где в кафе увидел собственную супругу, завтракавшую в компании изможденных ею молодых альфонсов. Возмущенный, он потребовал объяснений и был препровожден в жандармерию, где с него взяли отпечатки пальцев, словно с вора-домушника, а супруга долгое время бродила под оконцем камеры, пытаясь охладить воинственный пыл благоверного. К вечеру ей удалось достичь желаемого, и лишь тогда деликатные жандармы, уловив в их болтовне примирительные интонации, отпустили лжеправедника на волю. После очередного взрыва смеха Сашенька окончательно решил, что смеются над ним, над его аутсайдерской позой, над его потугами, цена которых во хмелю становилась ему пронзительно понятной. Тогда он вскинул голову и под хруст шейных позвонков ни с того ни с сего назвал не успевших еще отсмеяться мужчин сволочами и еще как-то исключительно похабно. Описывавший минутой ранее немую сцену, разыгравшуюся между супругами в кафе Ниццы, воочию увидел иллюстрацию к своему рассказу, ибо все остолбенели от подобной Сашенькиной выходки, но потом лишь махнули рукой: мол, с него и в трезвости-то нечего взять, с убогого, так чего ж мы ищем от него в пьяном раже. И Лупарев, ожидавший несдержанности, вспыльчивого ответа – словом, действия, – а встретивший все то же равнодушное презрение, заплакал пьяными откровенными слезами, оставшись в совершенном одиночестве, и некому было утешить его в тот чужой именинный вечер.

* * *

Сидящий тут же, за столом, Арик, поглядывая на своего престарелого родственника, в который раз покрывался гусиной кожей, что всегда бывало с ним в предвкушении скорой и значительной поживы – так у хищников дыбом встает шерсть на загривке и хвост делается

трубой. Вот и Арик беспокойно ерзал на бархатной обивке гамбсовского полукресла из гарнитура, бог весть как попавшего в ресторанную обстановку.

Глава 2

Может, кому-то и нравится жить в Сочи, вот уж не знаю таких. Сам-то я здесь родился, спасибо папаше-военному. Десять лет назад он пьяным упал в море, да только его и видели. Я с тех пор всегда с опаской захожу в воду и далеко стараюсь не заплывать. Мне кажется, что превратившийся в какую-нибудь зубастую рыбину отец, соскучившийся без привычного общества, так и поджидает, когда мелькнет перед его лупоглазой рогатой башкой моя пятка, чтобы утащить меня на дно. Нет уж, папенька, довольно ты нам попил красненькой, плавай-ка ты лучше один.

А Сочи мне надоел. Раньше я любил его, а теперь не могу узнать свой город – таким он стал пафосным, дорогим... совсем чужим. Местные жители, то есть и я в их числе, чувствуют себя на положении досадливых мух, от которых отмахиваются отдыхающие. Делать здесь нечего. Таксистом я становиться не хочу, карманником тоже, да и приличная с виду работенка администратора в каком-нибудь отеле меня не прельщает. Мне бы чего-то такого... Учиться после школы я не стал, было не на что, а так хотелось в Москву или в Ленинград, даже лучше в Ленинград, там ведь есть Финский залив – пусть совсем другое, но все же море. Но в Ленинграде у меня никого, да и после того как он стал Питером, тоже никого не появилось. А вот в Москве, мать говорила, жил когда-то родственник по фамилии Мемзер. Этот родственник, доведившийся мне дядей, благодаря своей фамилии уехал было в Америку, там страшно разбогател и вернулся сюда, чтобы богатеть дальше. Так многие делают, ссылаясь на ностальгию. Говорил мне кто-то, что у эмигрантов это называется «камбэкнуть на Рашу», или на «мазерлэнд». Как это часто бывает, Мемзер о нас, скромной своей сочинской родне, и не вспоминал, да и мы ему не докучали совершенно, опасаясь, по провинциальной своей наивной воспитанности, вызвать его раздражение или даже ярость своим внезапным появлением в его жизни.

Я меж тем устроился слесарем в автосервисе и немедленно ощутил себя белейшей из ворон в этом обществе замазанных мужиков с их вечной потребностью опрокинуть чекушку безо всякого повода и разговорами «за жизнь». Все это мне претило, я лишь выполнял то, что мне говорили, а возвращаясь домой, помогал матери по хозяйству, копался в семейном достоянии – огородике или делал уроки вместе с младшей сестрой. Иногда шел к морю – был у меня там свой укромный угол, где я устраивался с бутылкой колы и книжкой или каким-нибудь журналом, где печатают рассказы. пляжная полоса впереди была пустынна. Все прибрежные достопримечательности находились в стороне, и я лишь раз вынужден был стыдливо отвернуть от своего убежища, в которое проникла молодая страстная парочка отпускников, освобожденных от супружеских уз на срок в две недели ровно. Возможно, то, что я на них натолкнулся, было каким-то знаком, но я, разумеется, ни о чем таком не подумал и, растеряв все романтическое настроение, созданное предвкушением покойного чтения чужих мыслишек в журнале, побрел домой, размышляя по дороге о вполне непристойных вещах, касающихся безмятежных адюльтерщиков, лишивших меня заслуженного вечернего отдыха.

Мать встретила меня в некотором волнении – это выразалось в том, что очки ее были пристроены на лбу, прядь когда-то каштановых, а ныне пегих от преобладающей седины волос выбилась из-под платочка и в руках она держала письмо.

– Вот, твой дядя наконец о нас вспомнил, – произнесла она со значением. – Он скоро будет здесь.

– В смысле? – Я отнюдь не разделял ее возбуждения, все еще лелея подробности соития тех изменщиков, и вопрос мой вышел совсем тусклым и до того непонятным, что я вынужден был конкретизировать: – Он разве у нас собрался остановиться? Но у нас негде! Не на кухне же ему спать, в самом деле, – и, вдавлив в речь какую-то ненужную паузу, добавил: – Мама.

Мать вся как-то собралась, сжалась, словно пружина, и этот ее завод сошел на нет всплескиванием рук, от чего очки вернулись на свое привычное место, оседлав нос и сделав мать прежней, знакомой:

– Да конечно же нет, Сереженька! Твой дядя человек, – она со значением произнесла следующее слово, – очень богатый, – мать выговорила это четко, по буквам, – и собирается нанять горную виллу. Он зовет всех нас в гости, непременно надо с ним повидаться!

Я пожал плечами, скорее из духа юношеского противоречия, чем в действительности так считая:

– Зачем это? Я, во всяком случае, никуда не поеду.

Мать немедленно рассердилась. Она стала позволять себе вот так шквалисто сердиться после утопления пьющего моего родителя, словно ранее концентрировала в душе эту естественную человеческую способность выходить из себя, не проявляя ее при отце, который во хмелю распускал руки и не раз бил ее. Но тут, к моему удовлетворению, и сестра поддержала меня, заявив, что мы нищие, но гордые и ни на какие смотрины к богатому дядюшке никогда не потащимся. Мать спорила с нами, а потом вдруг сразу как-то ослабла, с ненатуральной безнадёжностью махнула рукой, пробормотав: «Что же я хочу, ведь я сама вас так воспитала», – и больше не настаивала. На следующий день была суббота, в автосервисе у меня выдался выходной, и я видел, как после долгих сборов мать, надев все же то самое платье, которое она примеряла первым, перед восемью остальными, такими же старомодными, настоящими осколками прежней ее жизни за военным, последний раз взглянула в зеркало, провела рукой по шарикам бус и, с укоризной взглянув на меня, еще сонного, стоящего в дверях своей спальни, ушла из дому. Я пошел досыпать и, уже сладко зарывшись половиной лица в подушку, понял, что ее уход непременно должен быть связан с приездом этого любителя горного воздуха – моего американского дядюшки.

День тянулся как-то неравномерно, и один час, пролетев, как мне казалось, за четверть часа, сменялся другим, тянувшимся никак не быстрее трех своих эквивалентов. Мать вернулась под вечер, от нее вкусно пахло мускатным вином, духами, которых у нее никогда не было, и еще чем-то нездешним, но весьма приятным. Она сдержанно улыбалась (исхитрялась улыбаться, даже когда пила чай) и таинственно молчала, справедливо ожидая взрыва нашего любопытства. Этот немой поединок, эту партию клуба молчунов сдала сестра, которая, не выдержав, спросила что-то дежурное, что-то похожее на «Как все прошло?», но все же немного не то. Впрочем, это неважно.

– Все же очень жаль, что я не воспитала тебя в кавказском послушании. Мне было неловко перед твоим дядей, когда я заявила одна-одинешенька и поначалу имела глупый вид. Он ведь так хотел тебя видеть. Ты его интересовал гораздо больше, чем какая-то старушенция. Представь себе – только о тебе мы и говорили! Но, тем не менее, все закончилось прекрасно! – Мать, довольная тем, что все шло так, как она задумала, щелкнула пальцем по своей фарфоровой чашке – щелчок этот вышел у нее каким-то по-мальчишески озорным – и принялась рассказывать дальше. Из ее слов мы узнали, что являемся бледным отростком мощнейшего финансового ствола, который представляет собой наш еврейский дядюшка, вернувшийся из своей Америки. Видно было, что все эти слова – лишь частые шпалы, уложенные под рельсы, которые должны в конце концов куда-то привести, чем-то таким возвышенным закончиться, чем-то, что никак не будет похоже на заурядный тупик или депо, воплощенное в последнем глотке мамино чаю. Так и вышло. Мать с торжеством извлекла из сумочки конверт и принялась им трясти над столом. Из конверта выпали американские купюры. Собрав все эти существенные и значительные бумажки в веер, мать указала им на меня и торжественно произнесла:

– Собирайтесь, молодой человек! Вы едете покорять Москву!

Думаете, я возразил ей? Что толку возражать, коли веер реален, коли впереди Москва, коли дядюшка оказался порядочным и согласился потрафить племяннику, призвав его под

свою благополучную сень? Ну не противопоставлять же, в самом деле, всей этой заманчивости мой автосервис, овражек в береговой полосе, обеспеченный двумя скоростными любовниками, разлетевшимися к тому времени по разным городам, окунувшимися в реальность своих семей и привычность супружеского благополучия и тотчас позабывшими о данной друг другу клятве в скором времени встретиться.

Оказалось, что дядюшка боится самолетов и даже из Америки прибыл, затратив кучу времени на морское путешествие до Европы, а оттуда уже поездом на Белорусский вокзал. Поэтому, отдавая матери конверт с веером, он попросил, чтобы любимый, никогда им прежде не виденный племянник прибыл к нему так же, поездом. Самолетом я летал только раз, в детстве, стало мне тогда худо, я весь был зелено-белым, и, помню, отец в своей форме, мужественно улыбаясь окружающим, заботливо наклонялся ко мне, менял приветливое лицо на свирепую маску и аспидно шипел: «Цыц, твою мать!»

Поэтому поезд. Пусть. Тем удобнее, тем лучше, когда есть время для перехода из мира в мир, не так болезненно, не так неожиданно оказаться в незнакомой столице, с корнем выкопавшись из семейного огородика.

Я стоял у окна в своей плацкарте, наблюдая за большой стрелкой часов, застывшей перед ежеминутной судорогой, и ждал, когда от ее толчка тронется, обратится в движение весь мир. Циферблат покажет свой тыл и медленно пропадет для меня, оставшись для кого-то на месте, столбы начнут отступать, уходя вглубь сцены, подобно актерам на последнем выходе, когда уже никто не собирается кричать им «бис», а все протискиваются в гардероб. Потечет вспять перрон, унося своим течением окурки, плевки, семечную осталость, убогий киоск с развешанными журнальными красотками, угнетающими либидо отдыхающих, и людей, идущих вперед, а все же пятящихся, словно раки, благодаря преломлению в стекле исчезающих за краем оконной рамы плацкарты под каким-то особенным углом. Там, за окном, была явь, здесь – сон, ни звука, лишь ноги чуть ослабли и понимаешь, что, как и во сне, если захочешь двинуться вперед, чтобы оказаться там, среди киосков, плевков и людей, то ничего не выйдет, не строишься с места...

На перроне суета, много женщин. Они больше любят провожать, чем мужчины. Среди них мать (радостная) с сестрой (мрачной). На сестре ее свитер, купленный на рыночке возле порта, такого небось в Москве и не увидишь, мать какая-то маленькая, зачем-то в черном, как тихий смиренный инок. Она выполнила свою задачу в отношении меня и теперь притворяется. Вон и рукой мне машет как-то совсем по-другому. Впрочем, я и не знаю, как она обычно машет. Какая теперь разница? Прощайте, прощайте, прощайте!

* * *

Пропал вокзал за окном, пропал Сочи, в котором он прожил двадцать три года. Хоста, Мацеста, Дагомыс, фонтан с подсветкой – городская гордость и место сборищ таксистов и проституток, бесчисленные шашлычные и концертная терраса с афишей Ларисы Долиной, автомат с грушей, измеряющей силу удара подвыпивших курортников, и только море долго еще тянулось за окном и обещало никогда не закончиться, но обмануло, поезд отвернул и море исчезло – все пропало, и он, оказавшись в не успевшем еще раскалиться пространстве плацкартного вагона, осмотрелся.

Напротив сидели какие-то тетki, и одна из них решительным жестом уже достала из-под откидного столика сверток с вареной курицей, а другая подняла над коленями свое вязанье, питавшееся через толстые, словно мучные червяки, шерстяные нити, тянущиеся из недр сумки, где их нехотя отпускали тугие клубки. Слева, на двойном месте, расположился какой-то стриженный ежиком спортсмен с жилистой шеей и в майке с фирменной закорючкой. Его визави был еще крупнее и загорал своей спиной проход, так что все проходящие вынуж-

дены были просить его как-нибудь подвинуться. На это широкоплечий откровенно хамил, советовал поискать другую дорогу и вообще вел себя крайне вызывающе, да еще и оказался приятелем стриженного ежиком спортсмена, с которым они тут же начали пить водку и закусывать рыбными консервами, взломанными с помощью перочинного ножа. С опаской поглядывая на эти грозящие вскорости привести сами себя в действие бомбы системы «Быдло», Сергей, вдруг спохватившись, что они уже прикарманили его конверт с зеленым заветным веером, судорожно зашарил рукой, нащупывая, вожделяя ощутить под пальцами приятный обнадеживающий хруст, гарантию своего безбедного (он не думал сейчас о милостях дяди, так как не мог еще к ним привыкнуть) столичного жития. Тревога почти наповал убила его, сердце готово было извергнуть из двух носовых кратеров потоки теплой лавы, но, по счастью, конверт и не думал исчезать – свернутый вдвое, он по-прежнему покоился в потайном, нашитом матерью кармане, заколотом английской булавкой.

Переведя дух, наш путешественник несмело повернул голову в направлении казавшейся теперь чуть безопаснее преступной парочки и, всмотревшись в лицо огромного Кингконга Гардеробовича, с отвращением увидел, что лицо это словно собрано из кусков разбитого зеркала и какой-то фантастической иглой грубо сшито заново. Кингконг Гардеробович, уже под хмельком, рассматривал собственные колоннообразные пальцы и время от времени принимался с удручающей тревожной быстротой шевелить ими, а после вдруг подносил какой-нибудь палец ко рту и отгрызал заусенец, сплевывая его вместе с коричневой слюной на пол. Занятие это вскоре ему наскучило, и он поднял лежащий перед ним журнал с полуголой красоткой на обложке – можно было сделать верную ставку на то, что журнал куплен в вокзальном киоске. Раскрыв его посередине, Кингконг немедленно стал утробно хохотать, перемежая свой смех икотой и звуками громоподобной отрыжки. Его сосед-спортсмен, выпив полстакана, гладил себя по шее и сморкался в какую-то бумажку. Тетки напротив хищно терзали ранее замученную для них курицу, которой теперь уже было все равно. Косточки они заворачивали в газетные обрывки и с несмелыми ухмылками бросали под стол, а разделавшись с курицей, принялись за большие зеленые яблоки, оглушительно хрустя ими и давясь соком. Огрызки последовали туда же, куда и куриные кости, а после обе женщины принялись за вязание, с каким-то истуканьим упорством перебрасываясь сведениями, составляющими тайну их общих знакомых, эстрадных певичек и актеров.

Эти наблюдения сыграли с Сергеем недобрую шутку: он понял, что его сейчас вырвет. Одновременно с ощущением близко подступившей тошноты он вспомнил случившееся с ним в школе, когда на какой-то торжественной демонстрации он вот так же неожиданно сделался бледен и вывернулся наизнанку при всеобщем внимании. До роковой секунды оставалось менее ее самой, и Сергей, схватив чемодан, бросился к тамбуру, задевая углами багажа колени, торсы и выставленные в проход края ботинок. В тамбуре ему стало легче: по счастью, окно было опущено, и он стоял, глотая сентябрьский воздух, все еще очень теплый в этих местах.

В тамбуре показался проводник, попросил для проверки билет. Сергей, отколов английскую булавку и коснувшись веера, неожиданно для себя вместе с билетом достал крупную банкноту и, втолкнув билет вместе с нею в разжавшийся кулак проводника, попросил того изыскать возможность перевести его, Сергея, в вагон купейный, а если возможно, то и в мягкий.

– Ну, идем, – с какой-то пошлинкой подмигнув, сразу откликнулся впечатленный его щедростью и отношением к жизни проводник.

Проходя насквозь вагоны, он видел за окном мимолетно изменившуюся природу: лес стал другим, гуще, выше, травы сочнее. Наконец плацкарты кончились и начались купе, и Сергей был совсем не против занять полку в одном из них, дав себе слово, что не станет привередничать, а сразу же отвернется к стенке и уснет. Но и купе прекратились; проведя Сергея через ресторан, проводник открыл перед ним дверь в мягкий вагон, где в больших салонах пассажиры восседали на диванах, потягивая коньяк и читая свежие, деловито шурушасшие газеты.

Собственно, вагон был разделен пополам: спереди находились спальни, а к ним примыкали салоны на несколько человек каждый. Пассажиры побогаче оплачивали и спальню, и салон, а некоторые так всю дорогу и ехали в салоне, лишь на ночь оставаясь в относительной нестесненности.

Мягкий вагон был для Сергея чем-то по-неземному притягательным, совершенным признаком непопустительной прежде роскоши, вот так молниеносно наступившей, словно посреди дыма дешевых папирос вдруг отчетливо раздался голландский аромат вишневого косточки. Меж тем проводник открыл перед ним дверь салона, что-то сказал, но в этот момент поезд въехал в тоннель, а когда выбрался из него, совсем-совсем скоро, проводник, как в сказке, исчез, словно провалился вниз и сидел теперь на шпалах, озадаченно потирая ушибленную голову. Сергею же проводник мог бы представиться апостолом Петром – ключником, проводившим его из плацкартного ада в Эдем спального вагона, но эзотерический настрой обыкновенно приходит позже, по осмыслении произошедшего, а оно ведь только сейчас случилось, и незачем о нем размышлять – ничего в нем нет, чтобы назваться воспоминанием...

В купе-салоне, очень просторном, обитом мягкой, бесшумной тканью, сидели двое: небывало красивая огромноглазая женщина, совершенно какая-то чудесная, из тех, которых и в мечтах у Сергея даже не водилось, и довольно пожилой, очень респектабельный господин, весь такой подтянуто-загорелый, с тщательно закрашенной сединой на висках и крупным бриллиантом превосходной воды на мизинце. Сергей с провинциальной осмотрительностью аккуратно присел на свой диван и тут же провалился в его упругую дорогую мягкость, неожиданно, помимо своей воли, откинулся на спинку и не больно, но гулко ударился затылком о плюшевый валик. Раздался звук, будто стукнули палкой по туго набитому мешку. Пассажиры его (теперь и его тоже) купе сделали вид, что не обратили на эту неловкость ни малейшего внимания, лишь женщина с едва заметным высокомерием поглядела в его сторону, но тотчас же отвела взгляд. Он вздумал было стесняться, но стесняться было не перед кем. Ободренный этим фактом, равно как и воспитанностью своих соседей, Сергей принялся смотреть в какую-то книжку, на самом же деле разглядывая их, совсем новых для него во всех своих проявлениях людей. Очки помогали ему проделывать наблюдения с большей конспирацией.

Дама была одета в кипенно-белый, сильно декольтированный и довольно длинный снизу наряд, долгота которого, впрочем, с лихвою превозмогалась боковым разрезом на юбке, поднимавшимся много выше колена. Кожа ее, лишенная загара, светилась изнутри чуть заметным оттенком персика. Шея была грациозной, пальцы длинными, грудь полной, волнующей и высокой. Красоту ушей подчеркивали две бриллиантовых капли карата в два каждая. На груди застывшей слезой покоился камень еще больший, а пальцы были почти без украшений, лишь безымянному левой руки повезло – его дважды опоясали кольца: в одном переливался и рассыпал по сторонам бесчисленные брызги света бриллиант, посаженный в оправу столь искусно, что он был виден весь, второе, обручальное, представляло собой простой ободок из белого золота. Серьезное лицо дамы было прелестным: губы полные, лоб высокий, на щеках – едва намеченные нежные ямочки, светлая копна волос убрана назад и затянута в простой походный хвост. Ее спутник казался иностранцем, потому что на носу его уютно сидели очки для чтения, да и вообще... Ну, словом, иностранцы непременно должны быть такими. Однако Сергей ошибся.

– До чего же мне охота чего-нибудь выпить, – протяжно, даже с какой-то обидой сказал этот господин совершенно по-русски и без малейшего акцента и, взяв со стола маленькую бутылочку французской воды, потряс ею над хрупким высоким стаканом. Из бутылочки в пустой стакан упала одинокая капля, и господин, вздохнув, опять пожаловался: – Хоть бы фруктов принесли. Надо было купить в городе. И зачем я тебя послушал?

– Но ведь это ты затеял игру в прятки на вокзале, – фыркнула женщина с легким, но не жеманным негодованием. – Я все никак не забуду, такая глупость все-таки...

Ее муж устало потер лоб и неопределенно пожал плечами.

– Ты сам виноват, что нам пришлось прятаться, – добавила его жена и поправила на коленях юбку, искусственным боковым зрением моментально уловив, какое впечатление произвели на недавно вошедшего молодого человека ее ноги. Он, заметив, что от нее не укрылось его любопытство, с показным вниманием стал смотреть в свою книжку.

– Ладно, – она говорила тихо, только для мужа, – эту тему стоит закрыть.

Муж знал, что своим молчанием необыкновенно раздражает ее. Глаза его светились озорством, брови ассиметрично разошлись (правая была много выше), а еще он жевал резинку, энергично двигая челюстями. Происшествие, которое немного рассердило его супругу, не стоило вообще-то и выеденного яйца. Московский доктор прописал Мемзеру двадцать дней горного воздуха, тишины и орехов в меду. Составляющие рецепта были доступны повсеместно, за исключением этих самых орехов. Зацепившись за них мысленно, Мемзер уже сам и выбрал это место сравнительно недалеко от Сочи, где теперь есть сносный hotel международной марки и от этого отеля недурные виллы, которые состоятельные господа предпочитают нанимать на выходные и праздничные дни. В Сочи у него было и другое, чрезвычайной важности дело, и рецепт врача подвернулся как нельзя кстати. Без этого Мемзер никогда бы не убедил супругу поменять Лазурный берег на сомнительный сервис краснодарской здравницы. Она с показным мужеством выдержала в горах чуть более двух недель, а потом решительно объявила о своем желании сбежать от этой однообразной тишины и белых гостиничных полотенец, и вот тут-то, перенастроив ход мысли на хоть сколько-нибудь вялое движение, Мемзер ускорил поиски своей не такой уж и дальней родственницы, для чего, заплатив несколько монет за сведения об ее адресе, отправил по этому адресу письмо с предложением о встрече. Он рассчитывал на трогательную сцену, на пылкие объятия детей, о существовании которых он узнал из справки, подготовленной для него еще в Москве, но, как оказалось, никто не разделял силы его порыва. Жена и слушать не хотела ни о каких бедных родственниках и на время встречи уехала кататься верхом. Сами же бедные родственники и не думали появляться, и лишь их мать, поразившая Мемзера своей бесцеремонной, ничем не прикрытой и бесхитростной провинциальностью, явилась к нему и с порога принялась просить устроить судьбу ее мальчика, что по сути своей Мемзера совершенно устраивало. Мать же продолжала с надрывом рассуждать о том, что для его сестры, должно быть, и тут сыщется муж, да и пусть девочка остается подле матери, а вот сыночек – он захиреет здесь, попадет под дурное влияние, затоскует, и жизнь его прервется, так и не свершив значительного поворота на какую-нибудь центральную улицу, по которой имеют право ходить лишь удачливые и здоровые особи, а все прочие довольствуются тем, что глядят из узких своих проулочков на этот шик и сияние. И долго бы она еще сетовала на свою жизнь, поворачивая ее перед Мемзером со всех сторон, но тот быстро понял, чего она от него хочет, и совершенно искренне сказал:

– Да пусть приезжает прямо ко мне домой. Я с радостью его устрою куда-нибудь при себе, ведь и детей у меня нет, а он получается совсем близким, твой сын. Кто знает, может быть и дело мое он...

Но тут Мемзер осекся – быть может, вспомнив колючие глаза и плотно сжатые губы своей любимой жены, а может, и по другой причине, известной только ему, – и жаждущей матери так и не пришлось дослушать эту многообещающую и кажущуюся в его устах такой серьезной фразу. Разумеется, она, его супруга, и есть единственная законная наследница. Да и что вообще говорить о каком-то завещании? Ведь он еще крепок и слишком любит жизнь, чтобы помышлять о тоскливой брэнности, переходе в мир иной и оставлении супруги в роли богатой молодой вдовы. У него на этот счет совсем иные планы. Нет-нет, довольно об этом, а мальчик – что ж, пусть мальчик приезжает...

Жена восприняла его затею крайне отрицательно и назвала ее «нашествием голодных ртов в успешное предприятие». Он тщетно пытался отговориться, ссылаясь на то, что всего

один голодный рот не в силах что-либо испортить в его деле, крепком и надежно поставленном. Испытывая неловкость перед родственницей, он ничего не сказал ей о местонахождении своей супруги и, стремясь предотвратить ситуацию, при которой вновь обретенное семейство, одумавшись, теперь уж запросто решит в полном составе заявиться к ним, солгал, что завтра же уедет из Сочи, тем более что дело свое он сделал. Спустя несколько дней, уже разместившись в вагоне, он вдруг увидел из окна свою родню, непонятным образом тут оказавшуюся. Обнаружить себя было неловко, и фрукты, свежие и сочные, уложенные в корзину вокзальным торговцем, так при нем и остались, хотя Мемзер с женой еще в такси твердо обязались друг другу не забыть купить в дорогу как раз такую корзинку.

Превосходно отдохнувший, налитой бодростью и желанием Мемзер, выглядящий так, будто мир каким-то образом весь, целиком, находится у него в кармане и был там всегда, сколько он себя помнит, жевал свою резинку и гармонировал со всем, что было вокруг него, на нем и внутри него. Единственным крошечным пятнышком на этом полотне, созданном Совершенством, был невесть как попавший в их купе молодой человек, и Мемзер принялся его рассматривать, цепляясь за малейшие детали облика, отметив про себя выглаженный пиджачок надевавшегося на выпускной школьный бал костюма, свежую дешевую сорочку, такую тонкую, что она грозила расползтись от ветра или неловкого движения, ботиночки с затертыми ваксой проплешинами на задниках, покрытую конфетным золотцем оправу очков. Все это пронизательный делец ощупал, взвесил и, оценив с точностью до копейки, ностальгически вздохнул, вспомнив себя, вот так же когда-то отправившегося в Москву из дома своего деда Исаака в Кишиневе.

Сергей меж тем, почувствовав к себе такое пристальное, раздевающее внимание, готовился уже с вызовом поглядеть на этого физиономиста, но тот, предчувствуя на уровне импульса, отвернулся, да и жена весьма кстати что-то такое добавила к своей обвинительной речи. Она была из тех решительных, расторопных дамочек, что привыкли всегда ставить в разговоре последнюю точку, даже в случае, когда в этом не было никакой необходимости.

– Я надеюсь, вся эта неприятная суэта теперь в прошлом, – вот что услышал Сергей и при звуках ее голоса едва заметно вздрогнул от удовольствия. Голос у нее был глубоким, а вовсе не протяжным, кокетливым, пустомельным. Ровно ничего пошловато-обыденного в нем не было, и чувствовалась даже некоторая царственность, что, впрочем, не раздражало, а воспринималось как само собой разумеющееся у таких вот обеспеченных и серьезных женщин. Заметив, что молодой человек обратился в слух, она с легкой тенью досады отвернулась к окну и принялась наблюдать за мельканием дорожных столбов, от нечего делать ведя им счет. Это подействовало гипнотически, женщина, сама того не замечая, сомкнула веки и провалилась в минутный сон. И кое-что даже приснилось ей: миролюбивое, улыбочное и оттого невыносимое лицо мужа, который прекрасно знал, что она знает, что он знает, как раздражает ее это его снисходительное молчание. И вот, готовая высказать прямо в это лицо что-то особенно резкое, она проснулась. Но купе было рассечено сияющими лучами, а Мемзер с миролюбивым молчанием сидел в своем углу, весьма уютно там устроившись, и читал американскую книжку, толстую, с выпуклыми золотыми буквами названия – какой-то бестселлер, выпеченный «Нью-Йорк Таймс» сравнительно недавно. Привыкший от всего получать удовольствие, но не требовательно, а просто так, по сложившейся жизненной традиции, он и читал схожим образом, впитывая так и не ставший ему родным язык с явной старательностью прилежного ученика. Мемзер был работоголиком, всякое напряжение принималось им за истинную благодать, и сейчас он был счастлив, что работает, успешно складывая в уме английские слова в наполненные смыслом предложения. Увлечшись книгой, он ничего вокруг не замечал и даже страницы переворачивал очень быстро, не давая застывшему, неинтересному, предсказуемому мирку купе вновь овладеть им. Каждым переворотом страницы он отмахивался от этого мирка, словно от домашней назойливой но, тем не менее, любимой собачонки.

В жене Мемзера эти сияющие лучи не будили ничего романтического и с ее точки зрения могли называться лишь привычной для купе духотой. Поезд и обязан быть душным, так заведено, таков порядок, а значит, хорошо, что духота существует согласно правилам. «Вообще, – рассуждало ее сознание, – все в жизни и должно идти вот так, согласно правилам и четкому расписанию, без потрясений и вольностей, в ней не должно быть места опереткам и водевильчикам». Шекспир с его жизнью-театром и людьми-актерами был для нее неприемлем, а потому ей и неведом. Модная американская книжка должна лежать на виду, на журнальном столике в «зале» или кичливо стоять на полке шкафа из карельской березы в просторной библиотеке. В купе ей не место. Здесь подойдет какой-нибудь сборник кроссвордов, журнал с караваном глянцевого историй, романы Донцовой или Тополя, в конце концов. Совершенно незачем с таким студенческим, нарочито-заумным видом вот так смаковать американский бестселлер. Это сущее ребячество, это не подходит для мужа-бизнесмена, это легкомыслие и личина. Наверняка все это он делает нарочно, чтобы рассердить ее. «Папины причуды», – вдруг подумалось ей, и, вспомнив о разнице в возрасте с мужем, она невольно взглянула на молодого соседа. Представила, как отбирает у мужа книжку, прячет ее в чемодан. Опомилась – никогда она себе этого не сможет позволить – и вновь с досадой отвернулась к окну.

Теперь уже ничто не мешало Сергею разглядывать ее. Он даже отложил машинально свое читиво и лишь спустя минуту, спохватившись, вновь прикрылся обложкой, будто щитом, при этом почти безотрывно пожирал глазами ее прелестное лицо.

Поезд еще раз повернул, и солнце теперь полностью завладело их купе. Сергей видел, как солнечный свет придал молодой женщине какую-то немислимую, изысканную утонченность, словно вся она купалась в невероятном, сияющем, роскошном облаке. На миг он перестал помнить, что муж ее – загорелый, крепкий, судя по всему, очень следящий за собой человек находится здесь, совсем рядом, и у Сергея чуть было не вырвалась какая-нибудь незамысловатая фразочка, вроде «кхе-кхм, а вот как вас зовут? А можно я отгадаю? Ах, я ошибся? Скажите пожалуйста, а ведь я был уверен, что вас зовут именно так», ну и все прочее в подобном пошленьком духе. Однако муж был тут и миролюбиво сопел за своей книгой, не замечая ничего вокруг, – столь же безразличной ко всему выглядит собака, которой дали грызть кость, однако если положение станет критическим, кость ее не остановит и нарушителю будет искусан весь его замысел. И Сергей сразу отступил, одумался, как-то обиженно засопел, полез за носовым платком, протер очки, вновь нацепил их, словом, проделал массу ничемных действий, лишь бы погасить в себе это непреодолимое желание заговорить с красавицей.

Ему помогла бесцеремонность проводника и сочный звук отошедшей в сторону по хорошо смазанным полозьям купейной двери:

– Обед, прошу вас, кто желает, – с ленивым достоинством произнес проводник и красноречиво напружинил руки, держащие железный ящик с колесами, в котором этот самый обед и томился, упакованный в алюминиевые порционные судки. – На горячее у нас курица или... – проводник запнулся и с недоверием поглядел на свой ящик, – или рыба.

– Нам ничего, – Мемзер, который вот уже полчаса томился мерцающим чувством голода, но все никак не мог оторваться от книги, теперь решительно ее отложил, нежно посмотрел на жену, словно ища у нее поддержки, и добавил: – Мы идем в ресторан.

– Для вас, пожалуйста? – проводник с надеждой посмотрел на Сергея, но тот лишь мотнул головой, и проводник с негодованием удалился.

Жена Мемзера не хотела идти в ресторан, она вообще терпеть не могла поездов, и предстоящий переход из вагона в вагон казался ей чрезмерным насилием, форменной жестокостью. Она, пожалуй, взяла бы для себя рыбу или... курицу, ах! – какая в сущности разница! Но он, он вечно все испортит, все сделает по-своему, как будто бы ее и нет вовсе, вернее, она есть, но желаний ее никто не спрашивает, пусть это и мелкие, обыденные желания, а не покупка манто или авто, где она всегда выбирала лишь на свой вкус. И вот теперь придется тащиться,

ступая по шаткому вагонному полу, туда, где сидят какие-то люди, которых ей совершенно не хотелось видеть. И кто-то из них непременно будет уже пьян и нелепо балагурист, кто-то станет есть, чавкая, селедку, кто-то со значением будет рассказывать о делах на своем производстве. Женщины будут пытаться казаться воспитаннее, чем они есть, роняя с неумело зажатых в левой руке вилок крупные, неловко порезанные туповатым ножом куски отбивной. Чей-то ребенок с искаженным лицом опытного сумасшедшего, издавая звуки волынки, примется носиться вдоль прохода меж столиками, а его мать, сидящая в обществе своих подруг за шампанским, станет время от времени окрикивать его резким голосом не раз обманутой женщины. Покидая купе, женщина, все еще очень сердясь, позавидовала этому невесть как попавшему в вагон первого класса парню, который достал из своей дорожной сумки сверток, а уж из свертка слежавшиеся, обтекаемой формы бутерброды и бутылку колы, и немедленно и с очень аппетитной жадностью начал есть. Она невольно засмотрелась на этого беззаботного паренька. Ей вдруг захотелось остаться – просто стоять и смотреть, с каким искренним аппетитом он ест. «Кто как ест, тот так и любит», – вспомнила она услышанную где-то мудрость.

Мемзер вытащил из кармана карточку, заложил ею место в книге, мягко ее захлопнул и поднялся следом за женой, наполнив собой весь объем купе. Они двинулись к выходу, и Сергей поджал ноги, отчего сделался очень похожим на турка – ему лишь не хватало этой ведрообразной, с кистью, шапочки.

* * *

Сергей остался со своей сухомяткой в неожиданном интима купе. Он жевал безвкусный черствый сыр и мягкий раскисший хлеб, он пил свою химическую отраву, он смотрел в окно. За окном все неизъяснимо поменялось. Исчезли южные сады, все чаще попадались какие-то поля с синееющим на горизонте лесом. Белые сараи, словно горсть с сожалением выплюнутых зубов, полупустые полустанки с мелькающими яркими кофточками, которые довольно скоро сменились на разноцветные плащи. Вот грянул мост, блеснула внизу вода, хотя нет – это не вода, а отражение солнца в ветровых стеклах автомобилей на широкой автостраде, но была и вода, и снова поля, сараи и плащи на полустанках.

Бутерброды кончились, он сделал последний глоток, уселся поглубже да поудобнее и закрыл глаза.

Москва, Москва! В самом этом названии уже была волнительна каждая буква, каждый слог. Он никогда раньше не был там, а впрочем, нет, был – в пятилетнем, кажется, возрасте, на каком-то вокзале, проездом из города N в город опять же N, где отец получил новое назначение. С этим переездом, с вокзалом связано было самое, пожалуй, значимое их семейное предание. Маленький мальчик ухитрился потеряться, и тогда сценарий его поисков был проигран до конца. Было все: и слезы, и беготня, и расспросы «не видели ли вы тут мальчика, такого... в курточке и синих штанишках», и милиция, и объявление по радио, и какой-то магазинчик, в котором он увидел диковинных игрушечных солдатиков, да так и стоял, раскрыв рот, пока, наконец, догадливый грузин-продавец не спросил его имя и не отвел к тому месту, откуда велась радиопередача. И вновь слезы, и вновь расспросы «как ты мог, неужели ты на понимаешь, как мы тебя...», и свирепость отца, от оплеух которого Сережу заслоняла мама, и все тому подобное. Вот такой Москва ему не запомнилась, он не ведал ее, но, как ему казалось, понимал и ничуть не пугался. Ему пригрезился широкий Новый Арбат, не раз виденный им в чертовом ящике, совершенно пустой, без людей, хотя и наполненный свистящими автомобилями, и идущая по нему красавица. Э, да что-то уж больно похожа она на вот эту самую, только что покинувшую купе прелестную даму! И красавица шла навстречу и улыбалась, и раскинула руки, приглашая его в свои объятия. Он шагнул к ней, она насмешливо протянула ему какой-то ключ, он хотел взять, но так произошло, что она уже выпустила, а он еще не поймал, и ключ

мягко, словно лист, опустился на асфальт, Сергей нагнулся за ним и... провалился в совсем уже основательный, черный сон без видений.

Он спал, широко раскрыв рот, и в горле его что-то влажно клокотало. Очки, как и положено им, оставшись без присмотра, немедленно спозли на кончик носа, и одна из дужек оказалась из-за уха, призывая все остальные части: линзы, перемычку с упорами и свою более благоразумную товарку – победокурить и закончить падением на мягкий пол вагона. Прошло около двух часов. Сергей безмятежно спал, вытянув ноги, и супругам пришлось акробатничать, перешагивая их, как бурелом в лесу. Кухня вагона-ресторана оказалась сносной, и жена Мемзера была в хорошем, томном настроении. Эти вытянутые ноги молодого птенца лишь позабавили ее. Кажется, она даже отпустила по этому поводу какую-то шутку, а муж ее поддерживал, и оба они, довольно хихикая, устраивались поудобнее на своих диванах. Мемзер был очень доволен эмоциями жены, два-три раза принимался за повторение какой-то старой, еще во время обеда им предложенной шутки или анекдота, и всякий раз она улыбалась, притом совершенно не слушая мужа, а думая совсем о другом предмете. И предмет этот находился совсем рядом и видел сладкий сон.

Состав принялся тормозить и вскоре, почти совсем растеряв былую резвость, пришвартовался вдоль какого-то перрона. Мемзеру в голову пришла шальная мыслишка, он выскочил на перрон, заметался в поисках прилавка с цветами. Ничего не нашел и, часто смотря через плечо на колышущийся в людских волнах поезд, нырнул в здание вокзала, где никаких цветов не купил, так как не смог сопоставить свою душевную возвышенность с обыденным и даже жалким видом сомнительных увядающих букетов. Раздасадованный, он обзавелся какой-то газетенкой, хотел было купить еще что-то, но вспомнил о краткости стоянки, выскочил на перрон и увидел, что поезд, придя в движение, набрал уже достаточную скорость, и теперь он его вряд ли догонит. Все же он побежал, сквозь оконце тамбура увидел лицо проводника, махнул ему, и тот милостиво открыл дверцу и подал ему руку. Путь Мемзера пролегал почти через весь состав, и он был свидетелем курящих девочек-подростков, раскрашенных в готической манере, и их спутников, очень грустных и тощих молодых людей с длинными косыми челками, спадающими им на подбородки. Кто-то огромный, бесформенный лежал под откидным столиком плацкартной «четверки», а напротив него сидел стриженный коротко спортсмен и потирал костяшки кулака, с удовлетворением поглядывая на дело рук своих. Далее начался купейный класс, где все было тихо и не пахло из туалетов столь ошеломляюще и откровенно, а уж затем показали и родные берега мягкого вагона, и вот, наконец, его купе...

Парень спал, подогнув под себя ногу. Мемзер сел на свое место, раскрыл книгу, перевел дух, поглядел на жену. Та назвала его «чокнутым дурачком» и ушла на спальную половину. Быстро вечерело, незаметно навалилась ночь, а Мемзер все читал свою книжку, упорно пытаясь вникнуть в смысл каждой странички.

Начало всякого пути всегда перенасыщено излишней конкретикой, значение которой в самом деле ничтожно и составляет всего какую-то крупинку от целой жизни.хлопоты первой половины дороги, ее волнения мгновенно и безнадежно забываются, и сон, разделяющий путешествие надвое, делает вторую половину быстрой и оглушительно трезвой. Под утро Сергей проснулся, поглядел на часы – он проспал необычайно долго. Во рту стоял кислый привкус ностальгии, и он поспешил уничтожить его, обосновавшись в уборной. Долго брызгал в лицо тепловатой водой, сняв рубашку, вымыл под мышками, с упоением надраил зубы и растерся наждачным вафельным полотенцем. Когда он вернулся, посвежевший, выглядящий полным хозяином наступающего дня, его соседи еще спали, и он, выйдя в коридор, долго смотрел на серые очертания деревень и мощное однообразие леса, пока, наконец, Мемзер, высунувшись из спального купе, не попросил у проводника кофе.

После кофе время пошло еще быстрее, рассвет наступил окончательно, состав шутя пронзал подмосковные города, замелькали безнадежно-зеленые туши электричек, окно испо-

лосовали улитки дождевых капель. Картина была безрадостной, и даже встречный поезд не нарушил ее: эта печальная конкретность томительно контрастировала с местом, откуда они вчера отправились, полные обманчивых надежд и ложных предчувствий. Впрочем, все эти мысли проносились лишь в голове молодого человека, который направлялся в свое вопро- сительное будущее. Мемзер же думал о завтрашней теннисной партии в компании с титуло- ванным государственным чиновником, жена его рассеянно включала эльмовы огоньки ближ- них планов: посетить косметолога, зал аэробики, консультанта по зарубежной недвижимости... Поезд, войдя в поле притяжения столицы, наддал и пошел еще быстрее, торопясь к желанному причалу, проводник объявил о скором прибытии, Сергей принялся вытаскивать свой чемодан, они с Мемзером столкнулись спинами, рассмеялись: один густо, покровительственно, другой коротко, отвлеченно. Сергей извлек из чемодана теплую куртку, с трудом натянул ее – и то наполовину, вышел в коридор, и тут же поезд, плавно качнувшись, встал, сделалось шумно, в этой суете юноша не успел мысленно, бросив последний взгляд, попрощаться с красавицей и на короткое мгновение пожалел, что никогда более ее не увидит.

В середине платформы истязал щеки духовой оркестр. Музыкантами, одетыми не то в ливреи, не то в военную форму с золотыми кистями аксельбантов, распоряжался некто высокий, с выправкой, в черном. Завидя мелькнувшего в купе господина, высокий завершил очевидно долгий, бог весть когда начатый процесс торжественной встречи коротким «прие- хал», и оркестр устроил торжество звука над вокзальной муравьиной незаметностью, а высо- кий занял место поодаль слева, возле таких же, как он, молодцеватых, спортивных... Сергей шел по перону с легким холодком волнения в груди, к Мемзеру спешил носильщик, понукае- мый широким человеком все из той же встречающей роты почетного караула. Как и оркестр, носильщик не вызывал отторжения, лавируя своей тележкой между брошенными на произвол судьбы пассажирами. Вместе с потоком бывших сопричастных к поезду людей Сергей прошел всю бескрайнюю платформу и, выйдя через здание вокзала, набитого чемоданами, кассами, спальными залами, игровыми автоматами и товарами в дорогу, оказался в Москве.

* * *

Да уж и оказался! И здесь же, сию секунду, готов был повернуться и по шпалам, обгоняя здравый смысл, нестись обратно. Толпа – одновысокая, в которой лишь изредка встречались выступающие плечи и головы, толпа бесцветная, пахнущая конским потом, подхватила меня и понесла прочь от вокзала. Нечего было и думать, чтобы повернуть вспять течению ссутулен- ных спин и рук, сжимающих что-то, пусть иногда лишь пустоту, или выставленных вперед, толкающих, острыми донными камнями продирающих борта локтей, тысяч ртов, изрыгающих проклятия всему существу. Меня прибило к поручню. Я почти разорвался им по линии поя- ницы. К счастью, нашел в себе силы что есть мочи оттолкнулся от смертельной железной черты, заработал локтями, заслужил от какой-то полной дамы с декадентским каре прозвище «козел». Не смутившись, еще выше подтянул чемодан свой да сумку и ринулся на штурм самобеглой лестницы. Оказавшись в метро, я пропустил подряд один или два поезда, наблюдая, как пра- вильно нужно залезать в вагон, и вполне успешно, даже с местом, доехал в третьем поезде куда мне было нужно. После такого ослепляющего начала, московского откровенного приема, я почувал, как возникла, как пришла ко мне жившая где-то на опушке ершистость. Пришла, да так навсегда и осталась, доказав свою безусловную нужность, как сухие спички доказывают ее заблудившемуся и продрогшему грибнику.

Это была московская кубическая окраина, где шелушащиеся стены домов с отчаянной, наплевательской, безоткатной гордыней демонстрируют сами себя и хранят немудреные, пред- сказуемые и никому, кроме квартирных воров, не интересные секреты своих жильцов, где ютятся возле тонких деревьев пыльные автомобили, а трансформаторные будки изрисованы

черными острыми буквами и свастикой. Сюда мне посоветовал сосед, частенько бывающий в столице и всякий раз останавливающийся в дешевой гостинице. Комната нашлась, у нее был свой номер и та легкость, с которой она превращала всякого прибывшего и озирающегося по сторонам, состоящего из песчинки своего «я» человечешку в постояльца, гарантируя легкий сквозняк из-под плохо прикрытой рамы, поношенную простынь, лампочку в сорок свечей и, наконец, умывальник. Удобства в виде душа были где-то там, где заканчивается коридор, сил дойти туда почти не было, а те, что остались, пошли на чистку зубов и распаривание лица под горячей струйкой умывальника. Очки... – говорил я, что постоянно ношу их? – очки я положил рядом, сбоку, на какой-то выступ этого мойдодыра. Без очков я, признаться, кое-что вижу, но лишь до той степени, чтобы не наткнуться на что-нибудь довольно крупное, например письменный стол или шкаф. И вот сейчас я, с зажмуренными глазами нашаривая полотенце, столкнул очки, они упали, обманув меня, звуком своего падения указав несколько иное место, и я наступил на них. Очки свои я, как и многие очкарики, называю «глазами». Так вот, в то утро, в маленькой комнате постоялого двора, я сам помимо воли лишил себя глаз. Была пятница, и даже необходимость вернуть себе зрение не могла заставить меня покинуть своей комнаты, окунуться в ужасающую суету, стать безвольной деревяшкой, которой играет поток толпы. Нанести визит дяде я планировал в воскресенье утром, догадываясь, что по субботам его лучше не беспокоить. Ведь, чего доброго, дядюшка мог соблюдать шаббат, и я своим появлением мог бы вызвать его напряжение, лишнее, запрещенное заковыристым еврейским обычаем действие. Значит, пятницу я вполне могу подарить самому себе, бездарно растратив ее на неподвижность и сон. А магазинчик оптики непременно где-то есть – где-нибудь здесь, поблизости.

Успокаивая себя, я заснул, и мне приснилось, что я остановился в роскошном, с мягкими кушетками, номере, а мои очки, уже давно отремонтированные и заново оправленные в респектабельное золото, держат на подносе убедительный лакей. За спиной его выстроился духовой оркестр, все напряженно молчат, вслушиваясь, ожидая изменения моего сонного дыхания, момента моего пробуждения, с тем чтобы грянуть туш и произнести подобострастным баском:

– Ваше высокоблагородие, извольте примерить очки-с.

Ах, мечты... но что в них дурного, в сонных, бестелесных...

Пробуждение, как всегда, разочаровало сквозняком из окна и надписью на стене, сделанной шариковой ручкой. Надписью, которую прежде я не заметил, теперь же она оказалась прямо перед моими близорукими глазами. «Мир убогих и шутов». Однако... Какой-то, по всей видимости, шекспировед сделал ее, или, на худой конец, родственник мне по духу циник. Во рту скопилась горькая слюна, желудок надсадно взвыл, и я вдруг вспомнил, что невероятно голоден. Эта мысль, а за ней и немедленно последовавшее подташнивание выгнали меня из общественной кровати, заставили, многократно чертыхнувшись, найти брюки и все, что к ним полагается. Шурясь по-кротовьи, я оказался на улице и немедленно стал озираться в поисках хоть чего-то, что могло бы явиться местом, где подают, продают, подносят, отпускают, торгуют какой-нибудь едой. Сослепу мне показалось, что впереди маячит вывеска булочной, и я буквально ринулся к ней, предвкушая хруст и ломкость теплой корки, чуть тягучую мякоть и глоток чаю или кофе. Но глаза в тот сумеречный вечер подвели меня, словно сами по себе, по собственной воле решив, что им, ослепшим, надобно. Булочная оказалась оптикой и, забыв о голоде, я отдался на милость какой-то девушки, лицо которой, смутным пятном плавающее передо мной, показалось умеренно симпатичным. Голос ее был деловитым, поставленным и вытекал из смутного пятна непрерывным, без пауз, ручьем. Это бесчеловечное, механическое, дрессированное обращение смягчалось тембром: мягким, словно обволакивающим. Я с молчаливой неуклюжестью протянул свои искалеченные очки, и со стороны пятна послышался короткий нервный смешок:

– Откуда у вас этот антиквариат?

«От верблюда!» – мысленно ответил я и так же мысленно развернулся и покинул глазной ремонт, очутившись на сумеречной улице все таким же голодным и подслеповатым.

«Дедушка завещал, на смертном одре», – я заставил себя улыбнуться, и улыбка вышла кислой. Впрочем, это тоже мысленно...

– Я, знаете, из глубинки, от столичного шика отстраненной. Мы там к вещам относимся беспощадно в том смысле, что снашиваем все под корень, на моды внимания не обращая, – расшаркался я наконец-то, фиглярничая и маневрируя частями тела.

– Увы, но придется с ними проститься. Мы помочь не в силах, можем лишь подобрать что-нибудь новое. Есть недорогие модели, – суховаго закончила загадочная девушка.

Что-то такое поднялось во мне – я вспомнил о своем веере, сообразил вдруг, что могу совершенно спокойно растратить его. Небось дядюшка щедрой рукой отсыплет мне еще и еще, стоит лишь ему намекнуть о возникшей надобности.

– Нет уж, давайте что подороже и, пожалуйста, скорее.

– Надбавка за срочность... – начала было она, но я по-барски отмахнулся:

– Лишняя информация. Скажите лучше, где можно подождать, желателно неподалеку, а то я ничего не вижу, ненароком еще попаду под трамвай.

– А у нас тут трамваи не ходят, – зачем-то ответила она.

– Мерси, но тем не менее?

– Можете посидеть вон там, за стеллажами. Там есть телевизор и журналы.

– А кофе?

– Хорошо, сделаю вам кофе.

– А что-нибудь посуущественнее? – я откровенно наглел, меня забавляло, что она обязательно должна была сказать что-то хамское, даже не очень грубое, а такое... народное, что ли. Какую-нибудь фразу, от которой цепенеешь – пошлость совершеннейшую. Но этого не произошло, и вместе с полной до краев кофейной кружкой я получил две булки с маком «из личных запасов». Размышлять о причинах небывалой отзывчивости девушки я вначале не стал, вцепившись зубами в тесто и обжигая язык растворимым, сдобренным порошковыми сливками и подслащенным рафинадом напитком. А вот уж насытившись, я изъерзался в нетерпении, ожидая, когда же она вернет мне дар глазеть по сторонам, чтобы увидеть, как следует разглядеть ее, познакомиться. Она непременно должна оказаться красавицей, даже лучше той роскошной и недоступной дамы из поезда. У меня есть деньги, я смогу пригласить ее в ресторан, расскажу о своих перспективах, о дядюшкиных садах Семирамиды, и она отдастся мне где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь...

– Вот. Готовы ваши очки. Примерьте.

Увы, но мое прозрение ознаменовалось горьким разочарованием. Так бывает, когда рассыпается придуманный образ, на глазах гибнет величественный воздушный замок, казавшийся столь надежным. Девушка оказалась совсем несимпатичной, у нее были очень короткие толстые ноги, красноватая сыпь на лбу и... И хватит на этом. Должно быть, к такой реакции она давно привыкла, а я не смог сдержать этой мути, поднявшейся со дна глаз, получивших способность видеть. В общем, я расплатился, стараясь не смотреть даже в ее сторону, поблагодарил за кофе и вышел прочь, включив в голове какую-то музыку, чтобы поскорей забыть о давешней неловкости. Возникло желание пойти хоть куда, хоть к черту на кулички, лишь бы у него там были нормальные, живые, веселые люди. Метро, центр Москвы, ресторан или кафе? Почему-то мне совсем не хотелось туда, я слишком ощущал свою чуждость тому миру, что, возможно, встречу, отразившись в зеркале витрин и ослепнув от неона вывесок. И я решил поискать здесь, неподалеку, среди этой обшарпанной убогости, кубизма бетонных коробок для жилья. Там, в центре столицы, где все так нарядно и нет возможности увидеть изнанку, вкривь и вкось затканную черновыми швами, невозможно понять дух моего нового города. Я уж и не помню, какой он по счету, но точно самый большой.

Я вышел к шоссе и побрел вверх, к мосту, туда, где виднелась воронка подземного перехода. На другой стороне был рынок, а для меня, провинциала, рынок – важное место. Во всяком случае, ничего кроме рынка я здесь не знал, да я и рынок этот не знал, но хотя бы мог ожидать от него предсказуемости: торговые ряды, суета, батраки-носильщики, толкающие перед собой телеги с товаром и нелюбезно оповещающие о своем неотвратимом приближении толпу. Торговцы и торговки, сытно лужгающие подсолнечных деток. Какие-то вечные платки из некрашеной овечьей шерсти, золотые зубищи... Но ничего этого не было и в помине. Рынок закрывался, народ валил прочь, и я сновал между извергаемой человеческой породой юркой щепкой. Меня словно тянуло туда, внутрь рынка. Верно, так проявлял себя мой дух противоречия, бродящий в каждом молодом человеке и угасающий в большинстве наших современников годам к тридцати семи. Перейдя Рубикон – незримую линию входных ворот, – я вдруг оказался в сильно разреженной атмосфере: повсюду закрывались лавки, охранники заглядывали в темные углы, один из них подошел ко мне и поинтересовался, не заплутал ли я и что вообще тут делаю.

– Да вот, хотел где-нибудь перекусить, – выпалил я первое, что пришло в голову, и тут же вспомнил, что за последние сутки съел лишь две невкусных булки. Такими они казались мне теперь, после того как я увидел уродство их владелицы. Голод вновь ударил под дых, и я громко икнул, чем, по-видимому, произвел на охранника благоприятное впечатление.

– А ты вон в кафе сходи, у нас тут их до этого самого, много, то есть. Вон там узбеки, но у них когда как, можешь на несвежее нарваться, а там вьетнамцы – у этих я ни разу не был, так что лучше уж иди к узбекам. Шашлычная вон там есть, но далековато, – он чертил пальцем по воздуху, стараясь, чтобы я понял его объяснения.

– Шашлычная? Нет, спасибо! Я из Сочи, у нас там шашлыком никого не удивишь, да и узбеки как-то приелись. А вот вьетнамцы – это интересно, пойду к вьетнамцам, – я поблагодарил охранника за всестороннее объяснение и пошел к аккуратному, выстроенному из разноцветных щитов домику с иероглифами над входом.

Внутри было уютно и очень свободно, почти не было посетителей. Ко мне подскочил маленький, с крупными, обтянутыми верхней губой зубами вьетнамец. Губа тут же отскочила вверх, чуть не шлепнув его по приплюснутому и какому-то размазанному носу, – это он так улыбнулся и пригласил меня садиться.

* * *

Он опустился за стол, покрытый клеенчатой скатертью, украшенной по краям целлулоидными кружевами. Замечательным было еще то, что стол этот единственный был установлен возле широкой кирпичной колонны, вокруг которой, казалось, и выстроена была вся легкая, ненадежная, словно карточный дом, постройка. В кафе (если это так называется, а не как-нибудь иначе, скажем, дыра или яма) стоял полумрак и было накурено. В дальнем углу за столом, предназначенным для четверых, ухитрилось разместиться шестеро персон, что ничем сверхъестественным не было, так как четверо из них были людьми весьма щуплыми, а двое как раз наоборот – довольно на их фоне крупными. Четверо были вне всяких инсинуаций вьетнамцами, остальные могли быть кем угодно, начиная с афганцев и заканчивая представителями редкого племени калашей, населяющего высокогорную часть Пакистана. Все шестеро непрерывно курили новомодные тонкие, с большим фильтром сигаретки «Кент», пачки которых в беспорядке, перемешавшись с телефонными трубками, какими-то четками, чайными пиалами и кучками упавшего мимо пепельниц табачного пепла, валялись на столе. В перерывах между затяжками застольщики что-то коротко друг другу говорили, смотря при этом в сторону, противоположную от собеседника. Один из них даже два или три раза глянул на Сергея, но Сергей этого не видел, увлеченно терзая политого соусом цыпленка. Говорили они по-русски, и всяк коверкал этот неродной для себя язык самым немилосердным и смешным образом. Вьетнамцы

сюсюкали, и все у них было «луцсе», «мозет бить» и «посол ты на...», а у неразъясненных их оппонентов все больше проскальзывало шипящих и окающих слов, по-первости и вовсе непонятных. Меж тем все они понимали друг друга превосходно, и разговор их мало-помалу достиг чересчур высокой ноты. Один из вьетнамцев сперва визжал, словно нападающий кот, затем достал пистолет и направил его в грудь одному из шепелявых спорщиков. Однако выстрела не последовало: сидящий рядом вьетнамец шлепнул ладонью по стволу и быстро что-то приказал. Видимо, он был старший, и слушались его беспрекословно, так как пистолет немедленно исчез столь же стремительно, как и появился. Сразу после этого тон разговора заметно понизился, а вскоре беседа и вовсе закончилась. Четверо вьетнамцев как по команде встали и без рукопожатий, безо всяких послесловий двинулись к выходу. Лишь один из них, тот, что воспрепятствовал употреблению пистолета, немного задержался, извлек из-под стола чемоданчик и бухнул его перед недавними собеседниками. Те немедленно, ухватившись обеими руками за углы и чуть не разорвав чемоданчик пополам, потянули его на себя, а взамен швырнули вьетнамцу почти такой же, но коричневого, кажется, цвета. Спустя минуту в кафе осталось всего три человека, не считая обслуги. Сергей поливал чем-то пельмени и уже неторопливо, с пластикой насытившегося кота покрутив пельмень в тарелке, отправлял его в рот. Официант с выдающимися зубами в восхищении качал головой и прицокивал языком. Он любил гостей, обильно и жадно насыщающих себя: значит, все нравится, значит, хромой Нгуен Ва, повар, живущий при кухне, не зря старался сегодня, отбирая продукты, разводя жар в котлах, где он варит капусту, размалывая мясо в пенистый фарш...

Афганцы-ливанцы-иранцы не спешили уходить. Они заказали у зубастого официанта еще один пузатый и увесистый чайник, тот, что сидел дальше от Сергея, положил чемоданчик перед собой и, щелкнув замочками, открыл его. Сергея привлек этот звук – он не видел сцены с пистолетом, не вслушивался в их забавно-русский разговор, но вот клацание замочков, попавшее точно в паузу между музыкальным шумом заведения, заставило его повернуть голову. Те двое, скалясь, смотрели в открытый мир чемоданчика, полный туго утрамбованными пачками розовых ассигнаций. Официант подошел к Сергею и спросил, не желает ли тот рассчитаться, так как за поздним временем кафе должно быть закрыто, но Сергей с удивлением заметил, что кафе закрытым быть не следует, ведь на дверях имеется доказательство «круглосуточно работает». Официант сразу как-то обмяк, и Сергей заказал себе пива. Зубастик, так про себя прозвал Сергей официанта, грустно поглядев на него, поплелся к барной стойке. Он словно опустошил заряд своих батарей и теперь грозил вот-вот остановиться и, завалившись на бок, комично дергать ногой, совсем как тот кролик из рекламы. Он поставил перед иракскими пакистанцами их чайник, принес кружку Сергею и, что-то бормоча себе под нос, вышел через общую дверь на улицу. Перед тем как покинуть собственное кафе, зубастый официант заплакал. Но никто, никто не видел этого. И это было уже неважно, потому что чайник в руках арабского марокканца взорвался, с ужасающей огненной силой разметав лоскутное зданье кафе, взгромоздив на уровень бывшего потолка утварь и обугленные мебельные деревяшки, разорвав стальную плиту и хромого повара Нгуена, раскатывающего рисовое тесто, и лишь Сергей остался посреди всего этого кошмара, укрытый спасительной колонною, вмиг покрывшейся выщербленными ранами, принявшей на себя всю ярость адской машины. Он все так же, не шелохнувшись, продолжал сидеть за своим столом, словно неопалимая купина, и в пиво ему насыпалось густого черного пепла.

Глава 3

Насчет своих добрейших отношений с министром Ариэль говорил сущую правду. Все так и было, и довольно уже давно, с тех самых пор, как на вступительном экзамене очутились за одной партией будущие приятели и компаньоны Арик и Павлик. Как это порой бывает в стрессовой ситуации, когда в человеке просыпается что-то сродни благородству, они поддержали друг друга, каждый помог ближнему: написав свой вариант, не поленился проверить вариант соседа. Оба поступили в солиднейший институт без всякой протекции – некому было ее оказывать. Родители Ариэля были, как ни странно, бедны, отец работал в издательстве литературного журнала, мать там же корректором, а Павлик вообще был сыном учительницы начальных классов из неполной сельской семьи. Дружба их носила сдержанный мужской тон, рукопожатия были суховатыми, но Арик знал, что все, с чем он обратится к Павлику, тот без всякого эмоционального надрыва выполнит. На первом курсе друзья придумали свой первый небольшой бизнес: на кухне родительской квартиры Арика отливали в формах фигурки гипсовых существ из китайского гороскопа, раскрашивали их и с большим успехом продавали на улице. Квартира была двухкомнатной, и Арику в ней принадлежало шестнадцать квадратных метров, десять из которых друзья оккупировали под тюльпанную плантацию. В течение года на этой плантации, как и положено, прямо из земли вылуплялись из своих луковиц цветы, нужный срок подрастали, а потом их срезали, укладывали в картонные коробки, набивали этими коробками «Запорожец» Смелянского-старшего, Павлик, имевший водительские права, садился за руль и компаньоны-мелиораторы выезжали в Московскую область, где не было диктатуры аэродромных кепок, держащих столичные рынки и цветочную торговлю на них под своим неусыпным оком. В Щелково, в Пушкино, в Софрино – они с колес продавали чудом выросшие цветы из собственной квартирной галереи и довольно скоро сколотили на двоих приличный капитал. Сейчас все это выглядит неправдоподобным, сейчас разнообразие и обилие цветов давно не в силах хоть сколько-то удивить, но было время, когда занюханый букетик из трех завернутых Ариком в прозрачный полиэтилен тюльпанчиков считался невероятным дефицитом, и даже те, кому незачем, не для кого было покупать цветы, все равно покупали их, повинувшись коллективному порыву. А потом кончилось студенчество – это был как раз последний год, когда студентов еще распределяли. Арик сумел выкрутиться и под распределение не попал (ему грозила не то Воркута, не то Норильск), а Павлик на факультете считался объектом преподавательского обожания, и его распределили в Госбанк. Был между друзьями совет, и на совете этом кое-что меж ними решилось.

Ариэль сошелся с некоторыми знакомцами отца, превратившимися из скромных издателей, журналистов, научных работников в предпринимателей. Коллективный разум создал сперва мираж, а затем сделал его явью, воплотив в одном из первых частных банков новой страны. Под ногами валялись никому не нужные золотые слитки, их лишь нужно было отмыть от коровьих лепешек и пустить в дело. Банк стремительно разрастался, обретал многочисленные щупальца, каждое из которых мощно обвивало какую-нибудь интересную темку, выжимая из нее натуру и множа, множа, множа капиталы. Надобно ли подробничать об этом? Вряд ли... Очень быстро банк, входящий уже в целую копилку разных зачинаний, стал перед задачей дальнейшего роста и принялся заручаться поддержкой гауляйтеров российских, судейских вершителей, проводя в государственном аппарате собственные переделы, ставя повсюду, где на то появлялась возможность, нужных людишек. За этими-то людьми моментально закрепилось прозвище, впрямую и бесстыдно указующее на связь того или иного государственного чиновника с группой Ариэля, обретшей к тому времени имя собственное – «Группа А». Выполняя то, что от них требовалось, людишки стремительно богатели и не особенно переживали после

скорой отставки, которая, впрочем, слишком скорой никогда не случалась – времени хватало, чтобы обеспечить себе приятную жизнь в качестве бывшего государственного «служаки».

Павел сидел в своем Госбанке, и репутация его была изысканно-безупречной. В начале подъема по финансовистской ранговой лестнице он лишь подавал бумаги. Затем, не особенно лоя с неба звезды, а спокойно, вдумчиво, подобно растущему в плоть земную и обещающему стать необхватным дубу, он начал расти, вскоре уже ему подавали бумаги. И содержание, и вес этих бумаг с течением времени тоже становились все существеннее. Конечно же, у Павлуши было тайное вложение в банк его приятеля, хотя ни в каких документах оно не значилось, но лучшей для Павлика гарантией, что старый дружище его не кинет, было его собственное, Павликово место. К этому времени, ежели представить себе обыкновенный спортивный пьедестал, Павел Уляшев стоял в финансовом мире на ступеньке, соответствующей бронзовой медали. От главной ступеньки его отделяло совсем немного, но он не спешил подниматься, все и так было неплохо и ждать оставалось пустяковую малость.

Вольница меж тем закончилась, власть поменялась и пьедестал сам собою очистился. Павел занял его после уговоров – он позволил себя упросить, явив образчик скромности честнейшего служаки. Заняв пьедестал, он уж было и развернулся, да все же как-то скупой, с оглядками, не теряя прежней своей осмотрительности. Нынешнее руководство к нему благоволило, и он представил им Арика, отрекомендовав его как человека исключительно лояльного, всегда готового дать сколько скажут, не избегая пределов разумного. И Арик дал и попал в ряд неприкасаемых: проверки и ревизии обходили его стороной, в газетах о нем начали было писать всякое, да быстро поняли, что всякого лучше не писать, а лучше как о покойнике: или хорошо, или вовсе ничего.

Примерно в это самое время, а когда именно – никто точно не знает, между закадычными друзьями состоялся секретнейший разговор. Проходил он в парижской квартире Ариэля, из окна которой открывался удивительный вид на крыши Латинского квартала, Люксембургский сад, на шпиль Сорбонны и зубцы собора Гюго:

– Паша, теперь ты должен оставаться на своем месте, насколько у тебя хватит физических возможностей, иначе говоря, жизни, – Арик пролил горячий кофе, попал на руку, охнул, чертыхнулся, но тут же рассмеялся: – Видишь, правду говорю.

– Как пойдет, – рассеянно ответил министр и свой кофе пить не стал, даже чашку предусмотрительно отодвинул чуть ли не на середину стола. – Ты же понимаешь, Ариэль, что никаких гарантий быть не может. Так вообще не бывает, где ты видел пожизненного министра?! – Павел по привычке потер лоб, что случилось у него лишь в периоды наивысших переживаний, и добавил: – Я же не генсек, да и Россия нынче не Совок.

Ариэль усмехнулся:

– Во всяком случае, недалеко от него ушла твоя Россия...

– Почему же только моя, – министр насупился, – она и твоя тоже. Разве нет?

– И да и нет, – Арик критически посмотрел на обожженную руку, место ожога покраснело. Он пробубнил: – Первая степень. Однако.

– Что? Ты о чем?

– О том, что, покуда я в этой стране зарабатываю деньги, она моя. А как только перестану их зарабатывать, то, как говорится, я вас не знаю, меня тут не стояло. Гори она огнем, Россия ваша. У меня же двойное гражданство, Павлик. Ты разве не знаешь? Я и тебе рекомендую обзавестись. На всякий случай. Я ведь не случайно сказал, что нынешняя Россия от Совка недалеко ушла. Наступит время, и все вернется обратно. Иначе и быть не может, у власти те же люди, они не умеют управлять по-другому, не обучены. Их демократия – уродливая, сифилитичная кухарка, та самая, обучившаяся управлять государством. И мне эта кухарка вроде и не по душе, я же интеллигентный человек, а вроде и на счастье она всем нам. Только вот что я тебе скажу, Павлик, от сифилиса гниют, сгниет и кухарка эта, и с нею вся та пакость,

которая сейчас здесь рулит. Вот тогда понадобится тебе второй паспорт, чтобы р-раз так – чемодан-вокзал-граница, и нет тебя.

– Государственному служащему иметь двойное подданство воспрещается категорически, – раздражаясь, ответил Павел.

– Тебе теперь можно все, – Арик подул на ожог и поморщился: сильно жгло. – Только осторожно. В Израиле тебе, конечно, не дадут, извини, а вот американское можно устроить.

– Да с чего ты вообще завел этот разговор? – Павел-министр даже взвизгнул. – Это что за шоковую терапию ты мне тут устраиваешь? Позвал в гости, обсудить, а сам мороку напускаешь?! Я ведь и обидеться могу, друг сердешный. Небось понимаю, как я тебе нужен! Так изволь вести себя корректно и пугать меня не смей! Вот пошлю тебя подальше...

Арик сделал примирительный жест, мол «прекрати, старик», по-хозяйски закинул ноги на невысокий журнальный столик:

– Я тебе друг, Паша, а друзья должны говорить друг другу правду, заботиться должны друг о друге. У тебя нервы на пределе, я же вижу. Так вот, возвращаясь туда, откуда начал, повторяю: работай себе честно и ни о чем таком не думай. На жизнь нам всем, слава богу, хватает, а вот сорвать по-настоящему большой куш на твоём месте можно. Даже, Паша, грех его будет не сорвать. Только ты один, без моей помощи, без поддержки не сможешь ничего сделать. Я плохих советов не даю и сейчас ничего тебе предлагать не стану. Но и ты уж мне поверь, однажды мы с тобой сделаем такое... – Арик мечтательно прикрыл глаза. – Знаешь, когда миллиарды в активах, в акциях – это, конечно, впечатляет, но с акциями может приключиться все что угодно, активы могут национализировать, а вот наличные деньги... наличные деньги – это сказка. Ладно ты – у тебя особенно и нету ничего, но и у меня свободных денег как-то не виделось никогда, во всяком случае столько, сколько мне хочется. В общем, однажды я обращусь к тебе с предложением... Обещай, что ты его выслушаешь.

Павел с недоумением пожал плечами и поглядел в окно. Выслушает, чего же здесь особенного. Предлагай, друг Ариэль. Как ты там сказал: «Должны говорить друг другу правду?» Правда лишь тогда чего-то стоит, когда она стоит дорого.

– Изволь, я обещаю – прервал министр свои размышления и почувствовал, как давившее с утра, еще с посадки в Москве сердце словно кто-то отпустил и оно забилося ровно и спокойно. Сделалось легче на душе, и Паша подмигнул своему закадычному товарищу:

– Я бы выпил чего-нибудь. Ты как на это посмотришь?

Арик с добринкой во взоре улыбнулся:

– Даже составлю тебе компанию ради такого дела. Полезем на крышу, у меня там солярий.

* * *

Они сидели на крыше, в ротанговых плетеных креслах, Павел клевал носом, его разморило от выпитого, и майское солнце Парижа ласково гладило его по макушке. Арик, напротив, пришел в прекрасное расположение духа и, как это всегда бывало с ним в редкие мгновения нетрезвости, философствовал на одесский манер, цитировал по памяти Бабея:

– Все же громадная со стороны бога вышла ошибка поселить евреев в России, чтобы они там мучились, как в аду. Разве было бы плохо, когда евреи жили бы здесь, во Франции или, скажем, в Швейцарии, где вокруг были бы первоклассные озера с карпиком, гористый воздух и сплошные французы, а?

– Ну и пшел к чертовой матери, – беззлобно выругался Павел и прикрыл глаза, голова кружилась. Хоть и невысоко, а с непривычки как-то ощущается, что до земли добрых тридцать метров.

– Позже друг мой, чуть позже. Вот разбогатею, – Ариэль увидел, что друг его спит, и еле слышно добавил: – и отчallo. Насовсем.

* * *

Получив сейчас предложение от свояка, Ариэль в очередной раз поразился беспримерной его мудрости и демоническому напору. Для старика, хотя родственника назвать так можно было все еще с очень большой форой, не существовало шлагбаумов, когда он решал чего-то добиваться. Арик понимал, что все только что им услышанное, все, с такой легкостью переданное в полусотне слов, было свояком тщательно спланировано бог весть как давно. То был человек, о котором Арик, как ни старался, знал вполовину меньше того, что хотел бы знать. Если с той частью жизни, что свояк провел в Советском Союзе до эмиграции, было все более или менее понятно, то о его делах после отъезда, о способе, которым тот сколотил в Америке бешеное состояние, нигде ничего решительно невозможно было почерпнуть.

Жорж Мемзер, или, как он сам любил себя называть и требовал того же от некоторых остальных – Георгий Мемзер, родился где-то на юге Ростовской области, в чьей-то семье, в какой-то день сорок восьмого года между ноябрем и декабрем, а точнее сказать не представляется никакой возможности ввиду отсутствия в этих сведениях скрупулезной метрической точности. Отец Мемзера считался крупнейшим на всю область антикваром и прославился тем, что скупал у неискушенных жителей их фамильные реликвии, предлагая взамен то, что обыкновенно за алмазы и золото предлагают невежественным дикарям: бусы и стальные топоры, словом, ширпотреб. Или платил им деньги, но никогда не давая даже и четверти реальной стоимости, представлял дело так, что продавец был рад собственному избавлению от ненужной рухляди. Эта самая бесценная рухлядь хранилась Мемзером-старшим в трех облепленных железом амбарах, и вот, когда третий амбар наполнился под завязку, Леопольд Мемзер пошел в отделение милиции. Да-да! Именно в милицию пошел мудрый Мемзер-старший и прихватил с собою не то узелок, не то мешочек, а в мешочке том лежали отнюдь не сухари или кальсоны с распущенными нижними завязками. Вместе с узелком-мешочком Леопольд зашел в кабинет начальника милиции и провел там, за закрытой на все замки дверью, более двух часов, а когда дверь открылась... Когда дверь открылась, на пороге стоял Мемзер-отец, и в руках у него не было узелка, но зато в кармане у него был новый паспорт на имя Михаила Ивановича Пасько и телеграмма, где говорилось о том, что товарищу Пасько необходимо срочно, во что бы то ни стало, со всей семьей доехать до Москвы по причине угасания ближайшего какого-то родственника, вроде бы родного брата.

На ростовском вокзале, с помощью телеграммы быстро обрета билеты и загрузив три амбара в багажный вагон, семейство Пасько расселось на шести лавках и в двадцать четыре глаза засмотрелось на ростовский перрон. Да так и тарашилось в окно без отрыва, когда паровоз свистнул, надал и повлек состав с прицепленным багажным вагоном в сторону Москвы. С той поры маленький Жоржик, ставший Григорием, понял, что любит поезда.

В Москве они скоро устроились в каком-то деревянном большом доме в Сокольниках. Дом принадлежал летному госпиталю, и бывшие Мемзеры жили в трех больничных палатах, где стены были выкрашены в белое и болотное, стояли железные кровати без набалдашников и лаконичные, потертые с углов и прижатые папиросами тумбочки. Багажный вагон со всем содержимым был переведен на запасный путь, возле него выставили охрану, и никто не задавал вопроса: «А что это собственно за вагон, что за странность такая?» Часовой не подпускал к вагону без личного разрешения коменданта вокзала, а у Михайло Ивановича такое разрешение, конечно, было, он несколько раз в свой вагон наведывался и выносил оттуда что-то завернутое в газеты и перевязанное почтовой бечевой.

И все, решительно все потекло изумительно удачно. Подкупленный милицейский комиссар из Ростова выдал Мемзеру путевку в новую жизнь. Не пропуск, не визу, а именно путевку, а она отличается тем, что выдается лишь на время. В Москве ростовский антиквариат-подполь-

щик быстро нашел покупателей на свой хранившийся в багажном вагоне товар. И то были не перекупщики-выжиги, готовые замучаться за копейку, а настоящие, богатые клиенты. Очень серьезные люди. Пасько сделался известным в мире подпольного антиквариата, многие из его высокосидящих клиентов благоволити ему, в особенности один очень крупный товарищ из торговли. Рассудив, что таковым расположением грех манкировать, Пасько стал обхаживать крупного товарища и подарил ему множество весьма ценных безделушек, которые им, профессионалом, воспринимались примерно так же, как воспринимает кассир деньги, видя в них лишь резаную да раскрашенную на разный лад бумагу, или цветочница, которая фыркает от негодования, получая к празднику букет. Товарищ же был исключительно азартным и фанатичным коллекционером. Пасько подманивал его поближе, как подманивают крупную дичь, привязав на веревке кролика, и своего добился. Подполье сменилось на кабинет заведующего универмагом – место по тем временам неслыханное, недостижимое, небожителейское, а семья расселилась в новой четырехкомнатной квартире выстроенного пленными немцами дома. Довольно быстро сколотилась вокруг Пасько – шайка не шайка, ведь они никого не грабили, не убивали, – а такая компания людей нужных, объединенных любовью к хорошей, вольготной жизни, имеющих неограниченные средства и готовых эти средства вкладывать в исторические роскошества.

То были странные времена. С одной стороны, нельзя было воровать, и за воровство было положено столько неприятностей, вплоть до лишения жизни, что иной сто раз думал, прежде чем со вздохом подставлял ладонь под прореху в государственном кармане. С другой стороны, и впрямь было супротив воров и государство победившего социализма, и те, кому судьбою было даровано вести с расхитителями социалистической собственности незримый бой. Исполняли они свой долг рьяно, мзды не брали, что особенно забавно звучит сейчас, когда вроде бы и государство есть, а всякий норовит чего-нибудь такого у этого самого государства тиснуть, или, проще говоря, украсть. И ревнители закона остались, да только обвинить их в чистоплотности, когда некоторые заказывают для своих погон у ювелиров золотые звезды, как-то не поворачивается язык. Смертную казнь, опять же, исключили, а чего же еще бояться человеку, кроме смерти? Но тогда, еще каких-нибудь тридцать лет тому назад, все было совсем иначе...

У Мемзера-Пасько был его универмаг. По тем временам это слово звучало для большинства точно название загадочного экзотического архипелага с пальмами, сахарным тростником, райским изобилием. Универмаг был легальной крышей, заведование им повышало статус человека до значительнейшего. Нехитрые, с точки зрения сыщиков из отдела борьбы с расхищениями социалистической собственности, методы усушки и утруски, к коим прибегали все без исключения сотрудники универмага, разумеется, в универмаге водились. Так было заведено, и вообще магазинная торговля без воровства немыслима и никогда в ней ничего не поменяется. В торговле лишь тот еще не вор, кто по какой-то причине не может украсть, а чтобы уж совсем украсть было нечего, такое просто невозможно. Мемзер-старший даже не воровал – слишком это слово банально из-за того, что под него подпадают и кража машины навоза, и сложнейшие банковские операции по выводу средств в неизвестном для окружающих направлении, – он комбинировал. В одном из складов универмага, который так неофициально и назывался «директорским», он оборудовал что-то вроде лавки древностей. Помещение было наводнено антикварными вещицами, все было в исключительно надлежащем порядке расставлено, учтено, внесено в особый каталог. К складу был приставлен отдельный сторож и учетчица Ляля Гельмановна – хитрейшая татарка с платиновыми коронками, отсидевшая когда-то в мордовских лагерях за скупку краденых произведений искусства. Само собой, что и сторож, и учетчица числились в служащих и получали по две зарплаты: одну в кассе в день выдачи, другую у директора в кабинете с глазу на глаз. Эта Ляля Гельмановна и спалила, как говорится, все дело, но об этом чуть позже...

Своих особых клиентов Мемзер привечал в ином месте, на скрытой от ненужных глаз даче. Была у него дача в тихом местечке, которое так и подмывает определить как «верстах в десяти от Москвы по Северной дороге». Мемзер считал себя человеком интеллигентным и презрительно кривил губы, слыша названия «Ярославка», «Варшавка», «Каширка» и прочее подобное. О себе он иногда говорил, что родился на свет с врожденным чувством правильного русского языка.

На даче он держал нечто совершенно особенное. То были по-настоящему уникальные, фантастической редкости и цены вещицы, все больше из «трофейной Европы», как называл он перемещенные после войны ценности. У каждой вещицы была своя, длинная, зачастую кровавая история, и не все из них были куплены Мемзером-старшим для последующей перепродажи. Под его началом деятельно трудилась бригада уголовников, и когда очередная генеральская вдова или доживающая свой век примадонна артачилась и не продавала камею, миниатюру, картину за назначенную комбинатором цену, он называл бригадиру адрес, и вещь попадала к нему гарантированно и притом совершенно бесплатно.

Здесь же, на даче, в тайнике, защищенном от металлоискателя своей глубиной, он держал большую часть денег, не доверяясь сберегательной кассе и чемодану в камере хранения. Попасть в тайник можно было лишь через каминный дымоход, и эту тайну Мемзер-старший открыл сыну примерно за месяц до своего злополучного финиширования на прямой, именуемой незаконной красивой жизнью, когда в кабинет заведующего универмагом вошли пятеро в одинаковой одежде серого цвета. Мемзер-Пасько с добродушиной на них прищурился:

– Костюмы у вас, дорогие товарищи, не из моего ли универмага? Как же, как же, шестой отдел, фабрика «Красный пролетарий», – он прервал сам себя. – Можно подумать, что есть пролетарии еще какого-нибудь цвета. Да... Так зачем пришли вы до меня, как до родной мамы?

– Леопольд Соломонович Мемзер вы будете? – задал глупый вопрос один из визитеров и достал из бокового кармана пиджака наручники, будто вытаскивал из пробитой пешней во льду лунки зимнюю полусонную рыбу. Так они и болтались у него на загнутом крючком мизинце. Было в этом какое-то особенное убудочное изящество, какой-то отвратительно гадкий безнаказанный шик и Мемзер-отец заплакал. Заплакал не потому, что жизни его наступил конец, не оттого, что дети его остались не выведены в люди, а хворающая женской болезнью жена вернулась из больницы, чтобы угаснуть дома, нет. А заплакал он, понимая, что этот скот вот так, с усмешкой раскачивал на своем пальце его, Мемзера, кандалы и был сейчас вершителем его судьбы или того немногочисленного, что от нее осталось. «Сгорел, сгорел Пасько», – говорили с придыханием его компаньоны и сжигали мосты, уничтожали улики, вырывали из памяти, как листок из записной книжки, его фамилию.

Отца расстреляли в шестьдесят восьмом и сделали конфискацию. Со стен большой квартиры в Брюсовом переулке исчезли картины Боттичелли и Веронезе, тяжелые зеркала в завитках бронзы. Вынесли из комнат кушетки декабриста Бестужева, коллекцию романовского фарфора. Пузатый от столового серебра буфет исчез бесследно вместе с серебром. Каминные часы Буре «Сатир и нимфа» почили в бозе. Всю, решительно всю обстановку описали молчаливые деловитые люди в костюмах из шестого отдела и вывезли на крытых грузовиках в неизвестном направлении. Хотя это еще вопрос, в неизвестном ли? В Эрмитаже, Русском музее, музее Пушкина и прочих этого рода предприятиях, почтивших бы за честь разместить мемзеровскую собственность у себя, она никогда не появлялась. Зато кое-что вскорости можно было увидеть в доме министра внутренних дел Щелокова, в коллекции супруги Леонида Ильича Брежнева, на даче зятя все того же Леонида Ильича товарища Чурбанова и в интерьерах некоторых прочих ответственных товарищей.

Забрали и дачу. Поселился на ней какой-то отставной хмырь, кажется, почетный метростроевец. Картошку посадил, пристроил кой-чего на свой вкус, купил дефицитной целлофановой пленки да понаделал огуречных парников. Жил хмырь метростроевский со своей хмы-

рицей, хмырятами и хмыренышами на даче по несколько месяцев кряду, начиная от первой апрельской оттепели и заканчивая ноябрьским хрустким снежком. Топил печку дровами и похозяйски завезенным углем, закатывал банки с домашними разносолами и все сетовал, что погреб у него, видите ли, маленький, надо бы расширить...

* * *

Жора Мемзер ходил по опустевшей, эхом отвечавшей его шагам квартире и кусал нижнюю губу. Душа его была отравлена ядом ненависти, просила о реванше, жаждала отомстить. Он остался в семье за старшего. Парень он был башковитый, учился в Бауманском, носил комсомольский значок и всегда имел в кармане сто рублей – сумма по тем временам астрономическая. С арестом отца комсомольский значок с него вскоре сорвали, из Бауманского отчислили, придравшись к каким-то пустяковым нарушениям дисциплины. То ли он дважды опоздал к лекции, то ли еще что-то. У нас ведь система известная: захотят убрать, так подведут, что и шито будет и крыто. Страна, в которой детей еще недавно заставляли отречься от родителей, на чьих посмертных делах стояло «враг народа», не может измениться быстро. И даже если с виду будет казаться, что она изменилась, при малейшем дуновении лубянского ветерка все тут же станет прежним. В общем, остался Жора без образования, а с тем и без перспективы состояться как человек значительный. Начинать же карьеру мясника, или торговца снегирями на рынке, или настройщика роялей (он неплохо музицировал) Мемзер не хотел вовсе.

На год семидесятый пришелся разгар еврейской эмиграции. Семейство Мемзеров решило уехать из страны по израильской визе. Для отъезда катастрофически не хватало средств, и только тогда Жора решил наведаться на конфискованную у них дачу.

Стоял декабрь, и он совершенно не знал, что его ждет, когда садился на утреннюю пустынную электричку, еще не остывшую от покинувшей ее недавно толпы. Он слишком увлечен был своими мыслями, чтобы заметить за собой след в виде мужчины неприметной наружности, одетого в тот самый костюм из шестого отдела универмага. И уж конечно он никогда бы не догадался, что это был тот самый, державший на отлете наручники типус, пришедший когда-то за его отцом. Татарка Ляля Гельмановна попала на старом – она скупала краденое, и за ней принялись следить те, кто получает за это свое жалованье и льготы на проезд в общественном транспорте. Через нее вышли и на завмагом Пасько...

Тот, кто арестовал отца, был следователем по его делу. Тогда долго искали. И в квартире, и на даче, и стены они исследовали с металлоискателем, но больше того, что обнаружили, найти им не удалось. Был следователь человеком угрюмым, себе на уме, что называется, измученным профессией. К людям относился с недоверием – судьба у него была тяжелой и даже трагической. Родителей в войну убило под Киевом, и он, круглый сирота, воспитывался в детском доме. В органы пошел по зову сердца, и сердце его огрубело и закалилось в кузне сурового чекистского характера. Всего себя отдавал он своей, наверное, полезной работе. Причуд и странностей, кроме означенных, не имел, семьи не создал. Дамы избегали его – он их отпугивал своей чрезмерной угрюмостью. Приближалась пенсия, следователь жил в комнатухе коммунальной квартиры, где помимо него находился обезноженный трамваем инвалид-алкоголик Колян, проживал дедушка-точильщик Макарыч, любивший взять работу на дом, спокойное семейство дворника Азиза и кто-то еще. Квартирный вопрос у следователя был не то чтобы неразрешимым: он стоял в очереди, но до него никогда не доходили, а ежели все-таки натыкались на его фамилию в списках, то переносили «на потом», обеспечивая жильем молодых семейных лейтенантов. Он не жаловался, не имел привычки. Давно разочаровавшись и в жизни, и в людях, он всех про себя называл сволочами и мечтал о тихой старости на шести сотках в Малаховке. Мечта его долгое время была бесплотна и как дух носилась над водами, но во время ареста завмагом снизошло на следователя откровение. «Вот оно! – решилось в

мозгу его. – Непременно надо к этому присмотреться». И он присмотрелся, и еще более сильным стало его постпенсионное вождение, когда нашли во время обыска лишь то, что лежало на виду, тогда как по его соображениям должно было быть кое-что еще. Он побывал и на даче, один, тайно, глухой февральской ночью, ничего не нашел, а тут и пенсия ему вышла, времени свободного оказалось – хоть сдавай в закрома родины, и он приобрел привычку следить за старшим сыном расстрелянного завмага. Кому-то могла бы эта его привычка показаться маниакальной, но он верил в свою следовательскую интуицию, не разу его не подставившую, и продолжал подсматривать, подслушивать, подмечать, благо юнец в лицо его не знал и при ходьбе лишней раз не оглядывался.

Почти два года следователь ждал этого утра. Он сел в противоположном конце вагона: парень был как на ладони, смотрел в окно, и видно было, как ходит его острый кадык. Следователь впился в этот кадык взглядом и всю дорогу не сводил с парня глаз. В кармане он прятал наган...

Георгий спустился с платформы, когда еще не рассвело. Дорога в дачный поселок вела через лес, шла сквозь совхозные поля, петляла в редком перелеске, проходя по берегу небольшого, подземными ключами налитого пруда. Раз или два ему показался за спиной отчетливый снежный хрусток чужих шагов, он резко оборачивался, но никого не увидел. Старый волк шел след в след, замечательно умело прятался за стволами, так что в утренних сумерках заметить его было невозможно. Наконец дорога уперлась в ворота поселка. Заперто. Георгий перемахнул через них в два счета. Зашагал по покрытой чистым незатоптанным снегом главной улице. Зимой на дачах никого не было, и лишь сторож иногда выходил из своей сторожки, а на ночь выпускал собак. Ничьих следов, кроме собачьих, на снегу не было – это врезалось Георгию в память на всю оставшуюся жизнь. Их бывшая дача была последней в проулке, отходившем от главной улицы. В свое время отец именно по этому признаку и выбрал ее среди прочих: соседи только с двух сторон, а с третьей прекрасный сосновый лес, воздух чистейший – вышел за ворота и оказался в берендеевской чаше, – сказка! Он перелез через кирпичный забор – предмет всеобщей соседской зависти, попал в сугроб, увяз в нем по грудь: изнутри, с подветренной стороны, изрядно намело и на участке снегу было выше колена. Новый хозяин поменял все замки, и Жора, поискав глазами, подобрал половинку кирпича: на крыльце под навесом стояло прикрытое фанеркой ведро, кирпич лежал сверху, чтобы фанерку не снесло ветром. В ведре оказалась зола. Он разбил кирпичом оконце веранды, просунул руку, повернул шпингалет, открыл...

Внутри было холодно, пожалуй, холодней, чем снаружи. Дом вымерз, и половицы встречали старого хозяина сдержанным морозным скрипом. Дверь с веранды в дом не закрывалась никогда, и метростроевец этой традиции не нарушил. Печка, большая, смахивающая на русскую, занимавшая так много места, утвердилась в середине дома и, казалось, была построена прежде него самого. Возле печки, как всегда, стояла самодельная, из куска арматуры, кочерга. Он взял эту кочергу, зашел печке в тыл, со стороны, противоположной жаровне, и ударил первый раз... Осыпалась штукатурка, показались ничем не скрепленные между собою кирпичи в двойной кладке. Он вынимал их руками и отбрасывал в сторону. Проделав лаз, чтобы впору только протиснуться, Мемзер достал карманный фонарик, осветил первые ступени почти вертикально уходящей под землю лестницы и полез в отцовский тайник.

Подземелье встретило его запахом глубинной земли, пробивавшимся сквозь щели дощатых подгнивающих стен. В крохотной, метр на полтора камерке не было ничего, кроме оцинкованного ящика размером с обыкновенный чемодан. В таких хранят киноленту. Георгий упал на колени перед этим ящиком, щелкнул запорами, поднял крышку. В ящике лежали деньги. Много. В основном доллары и федеративные немецкие марки. Он принялся набивать ими карманы пальто и брюк, клал за пазуху, когда в карманах стало тесно, то под рубашку, поближе

к телу. Внизу, под денежными пачками, лежал пистолет: старый Мемзер словно читал в книге судьбы, он предусмотрел все до последней мелочи.

Следователь ждал Георгия возле печки. Он устал прятаться от «паскудыша» и сейчас с нетерпением ожидал, когда голова преследуемого им от самой Москвы паренька покажется из печной дыры, которую он (вот болван!) не заметил в прошлый раз. Он, разумеется, собирался пустить в ход наган, но пока что держал его по-прежнему в кармане. Вместо револьвера он достал пачку сигарет и закурил, тем самым подписав себе смертный приговор. Некурящий Мемзер еще в самом низу, лишь начиная подъем, почуял запах табака и привел пистолет в нужное состояние. Следователь видел, как сперва показались из печного лаза худые пареньковы ноги в осенних, насквозь вымокших ботинках, затем пальто с неестественно раздутыми карманами. И стоило ему подумать, что в карманах лежит то самое, за чем он сюда пришел, как вдруг парень рухнул на пол и, совсем как в кино с Юлом Бриннером, по-ковбойски застрелил следователя, угодив ему своим выстрелом точно в грудь.

Он столкнул еще хрипящего в агонии отставника вниз и услышал, как тело с глухим стуком ударилось об ящик. В пристойке, сооруженной метростроевцем, Георгий нашел громадную, в сорок литров, бутылку ацетону, неизвестно для каких надобностей там бывшую. Притащил ее в дом, опрокинул, чиркнул спичкой...

При разборе оставшихся от дачи головешек ничего существенного обнаружить не удалось: до приезда милиции на пожарище успели здорово наследить. Особенно копать местные милиционеры не стали, да и кому охота лазить по саже и углям. И лишь весной, когда из дыры в уцелевшей печке начало попахивать, догадались заглянуть и нашли чей-то труп. Спустя некоторое время пришли к Мемзерам, но никого уже не нашли: квартира в Брюсовом переулке занята была другими, сестра Григория – единственная, кто отказался от выезда за границу, – вышла замуж и поменяла фамилию. Следователя-пенсионера долго еще считали пропавшим без вести, а позже и вовсе забыли о нем, сдав дело в архив за давностью лет.

Глава 4

Город вокруг меня ниспадал складками северного сияния, на мгновения драпировал себя взбитыми сливками французских штор и тут же распадался на части, чтобы повториться вновь и вновь, на излете своем истончаясь, словно чуждая природе дымка, на закате убедительно расправляя горы плеч-этажей, не держась своей плоской, бескорневой основой за твердь земную. Я видел лицо города сквозь прозрачность белых халатов, занавесивших воздух повсюду, где еще было для него место. Они пытались своей белизной убедить меня в том, что я умер, но я видел их насквозь и, отвечая впопад, улыбался, вполне натурально шевелил целыми руками и ногами, сердце мое исправно стучало, голова была как никогда ясной, и к ясности добавилась эта странная способность видеть сквозь белое...

И меня, наконец, отпустили. Вначале лишь для того, чтобы вновь я попался в пушистые лапы милицейских дознавателей, а уж затем и они изволили разжать когти, и вечер, оказавшийся столь противоречивым, расположенный где-то посередине между определениями «кошмарный» и «чудесный», вновь навалился своей мирной обыденностью, пытаюсь подмять под себя. Одно лишь прояснил этот вечер – прервал мою горячечную, порывистую самостоятельность, и более всего мне сейчас захотелось под крыло, в дом, где мое появление сделалось бы желанным. Я решил немедленно, не отмыв сажи со лба и коленок, поехать к дяде, рассказать, поделиться с ним моим волшебным спасением, придать нашему знакомству оттенок обманчивой новизны, ведь я мог бы бесхитростно и открыто заявиться к нему в искреннем обличе бедного родственника, а теперь, после случившегося, я решил подавать себя иначе.

В зрачок вонзился свет такси. Его шашечки помогли решить дилемму – с помощью чего передвигаться неокрыленному таланту. Я поднял руку и оказался в чреве желтого таксомотора вместе с его повелителем – немногословным скупым дистрофиком, цепляющимся за рулевое колесо костлявыми, точно куриными, лапками. Мы вместе ринулись куда-то, понимая, что это движение непременно прервется именно в той точке, имя которой я назвал шоферу. Он молчал. Он молчал даже после моих попыток разговорить его, и тогда замолчал я и всю дорогу молчал даже больше, глубже, осмысленнее, чем он. Я смотрел по сторонам, ощущая беспомощное негодование от того, что мне не с кем разделить свои впечатления от всего случившегося со мною, от всего, что происходило вокруг. Желтый таксомотор плыл по городу. Вдоль улиц торопливо, рывками скользили люди, то сбиваясь в стайку, то распадаясь на отдельные, на кровавые тельца в микроскопе, кишашие в прожилках застывшего на светофоре автомобильного потока. Потом все это опять двигалось, дома шли по сторонам улицы в мерцающих точках комнатных светильников, а над ними было непонятно где начинающееся темное небо. Впечатление мое от суетливой столицы, выскочившее наперед меня из вагона поезда и сперва похожее на маленькую, пустяковую комнатную собачонку, теперь обратилось в большого серьезного пса, с виду симпатичного, а на деле недружелюбного и с неясными намерениями. Я не выдержал, спросил у куроподобного водителя, скоро ли конец, и получил очень краткий ответ. Самый краткий из всех возможных. Он просто мотнул головой слева направо. Значит, еще нет. Я принялся считать перекрестки, пытался отметить в памяти имена дорожных указателей, и порой, во время редких ускорений автомобиля, все вокруг меня становилось до того бесплотным и призрачным, что я нарочно крутил пуговицу пальто, казавшуюся одиноким доказательством моего бытия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.